
Анна ЛАВРИНЕНКО

ПРОЛЕТАРИЙ НА ВАВИЛОНСКОЙ БАШНЕ

Повесть

1.

Тем зимним утром все еще можно было разглядеть бледно-желтую луну, которая болталась над соседним домом, но конкуренцию уличным фонарям она проигрывала: в их ярком электрическом свете мутно поблескивал забор из профнастила, окружавший пустую, гигантского размера стройплощадку. Ворота стояли распахнутыми, однако внутри ничего не было видно, кроме темного силуэта экскаватора, — и зайти на территорию никто не решался. Курили, переговаривались изредка и сильно нервничали: может быть, все накрылось? Может, работа, не начавшись, так и закончилась? В этой стране и не такое случается...

Сашка Истомин достал из кармана сигареты и втянул в плечи голову. От синей вязаной шапочки чесался лоб, и время от времени он проводил под отворотом ладонями. Удлиненная стрижка в дополнение к тонким бровям и красивым полным губам придавала его лицу еще больше женственности. Но на такой работе это скоро изменится: лицо загрубеет, оплывет, покроется морщинами и трещинами, потеряет былую привлекательность. И даже Сашкины дети, когда вырастут и наткнутся однажды на газетную вырезку с черно-белой общей фотографией, долго будут искать среди незнакомых лиц своего отца (и не без труда его вычислят).

Где же все? Может, там, в отделе кадров, что-то напутали?.. Когда он устраивался сюда на работу, то иначе представлял место, где будет строиться такой важный объект. Высокий забор с колючей проволокой, сторожа с овчарками — что-нибудь вроде этого. Все что угодно, только не пустота и заброшенность! Нет, что-то там, в отделе кадров, наверное, все-таки... В распахнутых воротах материализовался мужичок: маленького роста, в стеганой, синей с оранжевым курточке. Лицо, наполовину скрытое пышными усами, на холоде покраснело — и уши в особенности, — шапки на голове не было. Ее он сжимал в руках, и ветер трепал его русые с проседью волосы.

— Что же вы все здесь столпились? Пойдемте, пойдемте внутрь! Я — Сергей Михайлович, заведующий всем хозяйством на этом объекте. Из начальства здесь пока никого, придут после двенадцати вместе с газетчиками. Будем фотографироваться и пе-

Анна Сергеевна Лавриненко родилась в 1984 году в городе Ярославле. Окончила юридический факультет Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова, в 2006 году вошла в «короткий список» премии «Дебют» в номинации «Малая проза». Публиковалась в журналах «Знамя», «Новый мир», «Новая юность», «Волга».

ререзать ленточки! Первый день сегодня как-никак — надо это дело отметить. Я не в том смысле, — он постучал средним пальцем под подбородком и ухмыльнулся, — я про дату, про статью газетную.

Заметив взгляд Истомина, завхоз подергал себя за ухо.

— Что, совсем красные? — не дождавшись ответа, он со вздохом натянул серую шерстяную шапочку на голову. — Как не люблю я эти шапки, кто бы знал. Голова от них чешется.

На территории по левой стороне забора выстроились вагончики-бытовки, каждый со своим порядковым номером. Завхоз остановился рядом.

— Все самое необходимое здесь есть: кровати, тумбочки, обогреватели. Не гостиница пяти звезд, конечно, но жить можно. Это, так сказать, на себе проверено. Пойдемте дальше, к хозблоку, вон туда. Я выдам форму и ключи от «домиков». Переодевайтесь, осваивайтесь. Время еще есть, раньше двенадцати все равно, я так думаю, не приедут...

Сосед Истомина по бытовке числился в следующей смене и появиться должен был только через два дня, поэтому Сашка вдруг оказался предоставлен самому себе. Подкрутив обогреватель, он посидел немного на кровати, чувствуя, как под его весом она пружинит и прогибается. Взял в руки подушку, что стояла треугольником в основании — так раньше застилали кровати в пионерлагерях, в другой жизни, кажется, — и поставил ее обратно. Хотелось спать. Прямо сейчас лечь бы на эту пружинящую кровать и завернуться в колючее одеяло. Но еще больше хотелось с кем-нибудь поговорить, услышать и понять, что все происходящее, казавшееся странной дымовой завесой сна, — на самом деле реально и на самом деле происходит с ним. Объект государственной важности, большое снежное поле, холодная бытовка и подушка треугольником — все мнилось призрачным, ненастоящим. Как будто во сне.

Истомин переоделся в рабочую одежду. Принесенная с улицы, она и сама все еще была холодной, щекотала морозом кожу, но от тепла его тела быстро согрелась. Он вышел на улицу и наведалься до «кухни», но там ничего интересного не обнаружилось. Ни мебели, ни техники здесь пока не было; только в углу мерно жужжал огромный холодильник, но он был пуст и зазря тратил электричество.

— Эй, а ты чего тут один слоняешься? — услышал Истомин голос завхоза, как только снова вышел на улицу. — Пойдем ко мне, кофейку дерябнем, хочешь? Сюда не привезли еще ничего: ни чашек, ни сахара. Сегодня обещают, но тоже только после двенадцати.

Бытовка Михалыча (как он сам попросил себя называть) была уже обжита и устроена для жизни: маленький телевизор на тумбочке, чайник и электрическая плитка на две конфорки. У дальней стены стояла кровать, тут же два стула и маленький столик.

Михалыч вскипятил чайник и бухнул в кружки растворимого кофе. Вытащил откудато пряники. Истомин есть не хотел, но из вежливости взял пряник и откусил.

Михалыч подмигнул ему, улыбнулся.

— Я-то уже три недели здесь, — сказал он, шумно отхлебывая кофе.

Истомин кивнул, снова откусывая пряник.

— Смотрю, ты парень-то не особо разговорчивый? — хохотнул Михалыч. — Ну ничего, скоро освоишься. Быстро привыкаешь.

— К чему?

— Да ко всему! К работе этой, к жизни. И не вспомнишь потом даже, что может быть по-другому.

Истомин отпил кофе, так ничего и не ответив. Тогда он не поверил Михалычу.

* * *

Котлован начали рыть сразу же, хотя после зимы почва все еще была мерзлой и неподатливой. Работали руками и лопатами: прогревающего оборудования на стройплощадке не было, — из-за чего сразу выбились из сроков, предусмотренных сметами. Парни из строительной бригады предсказывали это с самого начала, да только кто их послушает? Чиновники сроками были не сильно озабочены: они-то знали, что цены в смете указаны в десять раз выше, чем в действительности; знали, что скоро счета N-ной консалтинговой фирмы пополнятся за некие якобы оказанные этой фирмой услуги сторонней организации; знали, кто выиграет следующий тендер на поставку материалов и уборку строительного мусора; да и много чего еще знали эти чиновники, кроме того, как трудно рыть котлован в застывшем грунте без противоморозных добавок и необходимого оборудования.

Потом никто толком так и не смог объяснить, почему это случилось. То ли изначально не так просчитали сроки, то ли не учли погодные условия, то ли были слишком амбициозны чиновники и начальники в своих уютных кабинетиках. Но что теперь делать, оставалось разводить руками: мол, сразу было ясно, что столь важный объект быстро не построятся, пирамиду Хеопса и то вон все тридцать лет делали, на ней и померло не одно поколение строителей. Так и тут: хоть и не пирамида, но тоже весьма существенно. Строят-то на века, а за века чего только не случается.

Но работали упорно, сменами два через два. Во время работы жили здесь же, на стройплощадке. В конце второго дня уезжали домой: помыться и выспаться. В пазике, который их возил, всегда было грязно и холодно. Но что поделаешь, если и все кругом точно такое же. Тротуары, проезжая часть лежат под слоем соли и песка, на обочинах огромными, недвижимыми глыбами висится снег, и кажется, будто теперь он здесь навсегда и останется. Бесконечная, бессрочная зима тянется уже столько времени, что даже не верится, что когда-то случится лето с длинными светлыми вечерами, трескучим пением кузнечиков и кисловатым вкусом жимолости. Унылые, серые дни.

На своей остановке Истомин выходил один и дворами, мимо новых, недавно отстроенных многоэтажек, шел домой. В этот час на улице было неуютно: пусто и как-то бесшумно. Порыв ветра, будто чье-то тяжелое дыхание возле щеки, — и сердце забило сильнее. Но чего бояться — это всего лишь ветер.

В доме то и дело не работал лифт, и Истомин снова поднимался по лестнице. На площадке между пятым и шестым этажами курил сосед. В черных трико, с голым торсом он сидел на корточках, прислонившись к стене. Молча поздоровались за руку, и только когда Истомин уже прошел мимо, сосед крикнул ему в спину:

— Что, опять лифт не работает?

— Ага.

— Только сегодня днем нормально фурычил! Что за техника такая?

Сосед, да и Истомин тоже не знали, что сборка лифта была качественной, венгерского завода-изготовителя, который по тем временам считался одним из лучших в деле производства лифтов и лифтового оборудования. Но при установке — ставили-то уже наши мастера, отечественные, — неправильно подкрутили какой-то винтик, что-то недоделали, недосмотрели, и лифт то и дело теперь замирал между этажами, не оставляя надолго без работы диспетчершу из дежурки. Диспетчерша всякий раз материлась не хуже сапожника, удивляя новыми ругательствами даже самых прожженных хулиганов, которым случалось ее подслушивать.

Истомин открыл дверь в квартиру. В детской было темно и тихо, из-под двери в «большую» комнату выглядывала узкая полоска света. Истомин снял ботинки и но-

гой отпихнул их к стоявшей тут же обуви. В коридоре не хватало места — и сапоги, ботинки, детские туфельки и домашние тапочки соседствовали здесь в одной общей куче. В прихожей уместились только узкий шкаф, забитый верхней одеждой, маленькое трюмо да стульчик, на который присаживались, чтобы надеть ботинки или сапоги. Рядом на крючке-гвоздике висела лопатка для обуви.

Телевизор был включен, но жена уже спала. Заснула прямо в халате: его ждала. Истомин разделся, на ощупь нашел висящее на спинке стула трико (точно такое же, как у соседа с нижнего этажа), натянул его и пошел на кухню.

В поисках ужина он засунул голову в холодильник. В маленькой кастрюльке обнаружился борщ с твердой желтой корочкой жира на поверхности. Истомин поставил кастрюлю на плиту и подождал, пока корочка расплавится. От нетерпения он так и не снял посудину с плиты и, капая красным на белую эмалированную поверхность, стал хлебать суп большой ложкой.

После ужина Истомин отправился было спать, но — бесполезно. Каждый день на стройке он только и думал о том, как придет домой и будет спать бесконечно долго, столько, чтобы хватило на два следующих рабочих дня. Но каждый раз не мог заснуть. Он выбрался из кровати и вернулся на кухню, налил чаю, включил телевизор. И так сидел до тех пор, пока глаза не начали слипаться. Только поздно ночью, а может быть, и совсем ранним утром Истомин наконец задремал.

2.

Весна пришла на стройку не щебетанием птиц и зелеными почками на деревьях, как представляется, а тающим по стройплощадке снегом и грязью, которая появлялась из-под него постепенно, но с каждым днем все объемнее и увереннее. Пока земля не прогрелась солнцем и не стала твердой и сухой, грязь была слишком вязкой, и слишком много тут было мусора, который образовался на пустыре по осени. Кроме бутылок, бычков, фантиков от конфет и собачьего дерьма, находили здесь и оторванную кукольную ручку, и игрушечную машинку, и потерянную кем-то кожаную перчатку.

Весна пришла жужжанием экскаватора, который начал активно махать клешнями, выгребая рыхлую черную землю.

До следующей зимы спрятаны были в шкафы синие рабочие куртки, утепленные штаны и валенки. Рабочие переоделись в резиновые сапоги и комбинезоны, а чтобы не замерзнуть, накидывали поверх них домашние вытянутые кофты и свитера.

В тексте исторических учебников четко видно, как идет ход истории, обозначенный вехами и цифрами, но на примере конкретного человека, да вот взять хотя бы того же Истомина, все не так сильно отличается от того, что было прежде. Несмотря на то, что стройка затягивалась, жизнь Истомина никак не менялась: разве что появилось больше продуктов в холодильнике. Жизнь давно вошла в ритм и привычную размеренность. Каждые двое суток он ездил на развозке, старался честно и добросовестно выполнять свои обязанности, а потом возвращался домой по проспекту, вдоль которого теперь тоже развернулось строительство: дома для новых жителей поднимались один за другим, и весь город становился застроенным, и росла здесь плотность населения.

Эта важная деятельность, государственный заказ такого значимого объекта не мог не вызывать прилива гордости за то, что ты делаешь, за то, что оставишь что-то после себя, что-то осязаемое, что смогут увидеть не только дети твои, но и внуки, и правнуки, и те, кто будет после них. Вот посмотрит Истомин когда-нибудь на объект государственной важности, как, например, смотрят сейчас на храм Христа Спасителя, и скажет: «Да это же я построил, это мое творение!»

Ботинки Михалыча то и дело увязали в грязи.

— Когда хоть эти дожди закончатся? — бросил он через плечо.

— Тебе необязательно идти со мной, — ответил Истомин.

Михалыч внезапно остановился, и Истомин чуть не налетел на него.

— Слушай, Сашка, это, наверное, насчет вчерашнего. Я, честно, не знаю, кто тебя сдал, но это не я.

— Да ладно тебе, Михалыч.

— Я скажу, что в курсе был. Тем более это правда. Ну почти. Скажу, что это я тебя отпустил, разрешил.

— Но ты же не начальник мне, Михалыч.

Михалыч покачал головой.

— Другие-то попроще будут, а Никандров... Вроде вежливый такой, слова матерного не скажет, голос не повысит, но так разговаривает... лучше бы уж кричал, матерился. Первый раз такого прораба встречаю...

Остановились.

— Давай я с тобой?

— Да не надо, Михалыч, спасибо.

— Ну ладно. Я здесь подожду, если что. Слышишь?

Истомин махнул рукой и вошел внутрь вагончика. Здесь было тепло: работал обогреватель. Единственный человек в помещении сидел за кривоногим столиком, спиной к окну. Он был в рубашке, но без галстука; воротник расстегнут на три верхние пуговицы. На лбу блестел пот.

— Здравствуйте, — сказал Истомин, застыв на пороге.

— Здравствуйте, здравствуйте. Проходите, садитесь.

И Никандров указал на стул. Истомин расстегнул молнию на кофте и сел напротив.

Из-за ямочек и бугорков — то ли оспин, то ли рубцов от юношеских прыщиков — лицо прораба казалось малопривлекательным. Тонкие бескровные губы почти терялись на бледной коже, как будто он давно не выходил на улицу, темные тени под глазами резко контрастировали с этой бледностью и придавали ему вид измученного, усталого человека. Говорил Никандров тихо и медленно, так что собеседнику все время приходилось напрягать слух и переспрашивать: «Что-что?»

— Самоволка, значит? — спросил Никандров.

— Извините. Возникли непредвиденные обстоятельства.

— Да, да. Вам позвонили, и вы тут же сорвались с места. Понятно дело, что не просто так. Но мне интересно, почему вы мне-то не сообщили! Я же всегда здесь, на стройке. Найти меня — дело пяти минут.

«Ну не было у меня пяти минут», — подумал Истомин и вспомнил, как он вчера стоял на площадке второго этажа вместе с Колей Добруком и управлял крановщиком, который пытался положить бетонные плиты на нужное место. «На меня, на меня немного», — кричали Коля с Истоминим в один голос. Они пробовали просто махать руками, изображая, в какую сторону нужно двигать бетонную плиту, но Федя с той высоты, где он находился, никак не мог разобрать их немой язык, и плита болталась в воздухе то в одну, то в другую сторону. «Еще! Еще немного! Вот та-а-а-а-к, нормально... Хорошо! Хорошо, Федя!» Кран двинулся в нужном направлении, но тут плиты немного повернулись, и Федя остановился. «Ну что? Так?» — закричал он. «Нет! Чуть повыше! К себе, Федя! Да, во-о-о-от!» Наконец состыковались, и Истомин с Колей начали принимать блок с плитами, но тут Истомин услышал, что его кто-то зовет.

Из-за ветра он не сразу понял, кто кричит и откуда, но через мгновение увидел Михалыча, мчавшегося к объекту со всех ног. Прямо на ходу он пытался натянуть свитер.

«Истомин! — кричал Михалыч. — Беги скорее к телефону! Жена звонит. Кажись, что-то случилось там у вас...»

Истомин поднял глаза на Никандрова и пожал плечами.

— Я... я не знаю. Я не подумал.

Никандров вздохнул и отложил ручку.

— Да я не отчитывать же вас сюда позвал! — он провел рукой по лицу. — Я узнать хочу, все ли в порядке. Может, помощь какая-то нужна? Что у вас там случилось, в конце концов?

Истомин вздохнул.

— Дочка порезалась. Разбилось что-то там, в садике. Она задела стекло, оно и треснуло.

— Какой кошмар! Все серьезно? Как она сейчас?

— Да вроде ничего. Сказали, что все быстро затянется. Но шок, сами понимаете. Мне жена позвонила в истерике, ей даже ничего толком не сообщили. Сказали только, что дочь в больнице. Ну, я и помчался туда, она не могла... У нас же сын еще, совсем маленький, месяц всего. На кого его оставишь?

— Понятно. Ну а девочка сейчас как? Все хорошо?

— Да, вроде бы да. Она дома пока, какое-то время побудет с нами...

— Ясно, — Никандров вздохнул и посмотрел в окно. — В следующий раз, если что-то такое... то, конечно, бегите домой, только не забывайте меня поставить в известность сразу, как получится.

Истомин кивнул.

— И если вам что-то нужно, обращайтесь. Мы все тут... — Никандров задумался. — В одной лодке.

В ту весну, когда приключилась эта история, Сонечке исполнилось четыре года. В ее воспоминаниях того времени отец навсегда останется суровым молчаливым мужчиной, который отводил ее в детский сад. Позже он превратится в человека, с которым она время от времени сидела на кухне и в молчании смотрела телевизор, но который по-прежнему был суров и молчалив. Потом он станет тем, кто неумело поцеловал ее на свадьбе и заплакал. И под конец: больным и старым, несчастным стариком, который часами может стоять у окна и ничего не делать — просто смотреть во двор. Но каким бы ни был он для Сонечки в разные годы, больше всего ей запомнился тот, самый первый, что провожал ее в детский сад одним холодным бесконечным зимним утром.

Всякий раз, когда они выходили из дома, высоко над головой висело темное небо: когда пустое, затянутое зимними облаками, когда усеянное звездами, половинками луны или круглыми пухлыми месяцами — но неизменно темное, зимнее. Сонечка задирала голову и смотрела наверх: она все силилась, но никак не могла понять, зачем ночью нужно куда-то идти. Отец, однако, был не из тех, кто остановится, чтобы полюбоваться Большой Медведицей, да и останавливаться-то особенно не хотелось, холодно ведь, — шел быстро, низко опустив голову. Он тянул Сонечку за руку, та едва поспежала за ним. В зубах отец держал сигарету, изредка вынимая ее изо рта неуклюжей вязаной варежкой. Его лицо тонуло в сигаретном дыму, смешанном с паром от теплого дыхания. Другой рукой он крепко держал маленькую дочкину ладошку, и Сонечка не смела в этот момент заплакать, устроить истерику. Попробуй скажи, что не хочешь в детский сад и не понимаешь, почему нужно выходить на улицу, когда небо совсем еще темное... Попробуй заплачь или попроси вернуться за куклой, которую ты сегодня забыла дома... Не то чтобы отец будет ругаться или кричать. Он посмотрит на нее сверху вниз и промолчит. Или скажет: «Ну, и что? И чего ты реवेशь? Жизнь, что ли,

закончилась?» Эти отрывистые тихие слова, если он все-таки удосуживался их произнести, пугали Сонечку еще больше, чем его молчание, но отчего, она не понимала ни тогда, когда была маленькой, ни потом, когда выросла.

Что в тот день случилось, она помнила смутно, если вообще помнила, а не придумала себе, восстанавливая события по рассказам взрослых. Навсегда на ее теле осталось напоминание: едва заметные шрамы, ощутимые скорее прикосновением, чем взглядом. Врачи говорили, что со временем они пройдут, но Сонечка всю жизнь ощущала их кончиками пальцев. Может, и правда: никаких шрамов на самом деле никогда не было, и зрение ее, и осязание всего лишь обманывались памятью?

Зато она хорошо помнила больницу и все, что было после. Наверное, из-за отца, который там тогда был, что случилось для нее неожиданностью. Ей виделись — так отчетливо — его бледное лицо и дрожащие пальцы, когда он гладил ее по голове. Вроде бы он что-то кричал, а докторица в ответ стучала карандашом по кипе бумаг.

И еще вечер. Они с отцом возвращаются домой на автобусе. Она сидела у него на руках, чувствуя прикосновение его щетины и большие крепкие руки. Его запах: от него, как и обычно, пахло потом и сигаретами. Казалось, что автобус едет медленно, очень медленно. За окном проплывали смутные пейзажи, больше похожие на очертания теней, отбрасываемые светом машин в ее спальне: пустыри, среди которых возникали вдруг, как будто из-под земли, автобусные остановки, одинокие прохожие с большими собаками на поводке, ряд частных домов с покосившимися заборами, длинные многоэтажные дома с причудливыми изломами.

Неожиданно отец наклонился к ней:

— Сонечка, дочка.

Она подняла на него глаза, а он, тыча пальцем прямо по стеклу, показал ей что-то в темноте за окном.

— Вон, смотри, сейчас я тебе покажу, где работаю. Во-о-о-н там, видишь? Видишь, огоньки горят, видишь, огромный такой дом строится? Вот там твой папа и работает. Видишь, Сонечка, видишь?

Но Сонечка, вглядываясь в стекло, видела там только свое отражение: испуганное, с широко раскрытыми глазами, — и больше ничегошеньки...

3.

Поздней осенью, когда жители соседних домов садились ужинать и включали телевизоры, так что голубые отсветы полыхали на тюлевых занавесках и незашторенных окнах, на стройке загорались прожектора и заливали объект ярким бело-голубым светом. Истомин больше всего любил именно это время суток, именно эти дни поздней осени, когда в призрачно-голубоватом освещении вся обстановка приобретала таинственные черты.

Он спустился с рабочего этажа и отправился на «кухню», по дороге махнув рукой Никандрову. Истомин вдруг подумал, что за последнее время Никандров сильно сдал: постарел и как будто даже сгорбил, в волосах уже пробивалась седина. Но по-прежнему в любое время суток можно было увидеть его длинную неловкую фигуру, перемещающуюся по стройке. Походка Никандрова, чем-то напоминавшая цаплиную, поначалу была объектом шуток, но со временем к ней привыкли и перестали обращать внимание. Сейчас Никандров разговаривал с новеньким — по крайней мере, этого парня Истомин раньше не видел. Вдруг прораб окликнул его:

— Саш! Саша!

Пришлось вернуться.

— Саш, я забыл: у тебя когда смена заканчивается?

— Сегодня.

— Сегодня? Ох... Слушай, мне надо парня пристроить куда-нибудь, свалился он на мою голову. Киселев привез себе таджиков, ну как обычно, так у него на участке перебор уже, и мне вот подсунил этого. А он по-русски ни бум-бум... Можешь приглядеть за ним? Говорит, что опыт работы есть, все знает и умеет. Если что, если вдруг возникнут какие-то сложности, отправим обратно Киселеву, пусть разбирается.

Истомин пожал плечами.

— Да без проблем.

— Тогда, может, попозже на твоём участке встретимся? Я ему покажу пока все тут. И это, Саш, спасибо, на тебя всегда можно рассчитывать.

Истомин махнул рукой, мол, не стоит благодарностей, и пошел дальше.

Он кивнул парням, которые сидели за столиками, достал из холодильника свой пакет. Сунул контейнер с едой в микроволновку и в ожидании осмотрелся. Рабочие ели быстро и молча. По маленькому телевизору шла мыльная опера, но ее почти никто не смотрел.

Оставаться на «кухне» с запахами еды и пота, с невнятно бубнящим телевизором и изможденными, не самыми радостными лицами Истомину не хотелось. Пока погода стояла теплая и безветренная, он любил ужинать на улице: устроиться где-нибудь на недостроенном балконе и пялиться в окна соседних домов.

Вон на восьмом этаже видно уставшую мамашу: она все время стоит у плиты, низко склонив голову. Тут же, за обеденным столом, сидит мальчик, разложив перед собой тетради и учебники. Иногда ребенок отрывается от своих занятий и смотрит на стройку: посмотреть-то больше некуда, — а потом снова возвращается к учебникам. Этажом ниже на балкон вышел покурить мужик. Истомину кажется, что он видит, как в воздухе мелькает красный огонек его сигареты. Интересно, о чем тот сейчас думает? В другом окне, где долгое время не было ни штор, ни занавесок, — да и теперь-то их, по привычке видимо, не задергивали, — два человека сидят на диване перед телевизором. Свет большой люстры ярко заливает комнату, и Истомину отчетливо видно их, мужчину и женщину. Они смотрят в экран, едят, пьют что-то из стаканов, переговариваются. В соседнем окне можно увидеть рыжего парня, который часами сидит за компьютером в одной и той же позе: сгорбившись, близко прикинув к экрану. Кажется, будто у него нет никаких человеческих потребностей, будто он робот или набитое соломой пугало. Но стоило только Истомину подумать об этом, как парень встал и какое-то время отсутствовал. Вернулся с тарелкой в руках.

Истомин и сам не заметил, как съел свой ужин, и даже удивился, обнаружив пустой контейнер. Он попробовал припомнить вкус еды, но не смог: как будто рецепторы не успели его прочувствовать. Впрочем, какая в том разница, если вкус этот ничем и не отличался от того, каким он был на прошлой неделе, в прошлом месяце или несколько лет назад. Истомину даже нравилось, что тушеная картошка с мясом всегда одинаковая и, как обычно, он чувствует здесь перец, соль и горечь лаврового листа, — все это ему нравилось. Еда точно так же, как и работа, обеспечивала стабильность и постоянство жизни.

Истомин бросил пакет с контейнером на кровать в своем «домике» и вернулся на стройку. На участке он огляделся. Здесь всю кипела жизнь: слышались крики и отборный мат, к которым примешивалось привычное монотонное урчание подъемного крана. Еще несколько рабочих только собирались приступить к делу: они натягивали перчатки, докуривали сигареты и над чем-то посмеивались. Здесь, под светом прожекторов, казалось, будто вечер и не наступал вовсе и семьи не садились отдыхать после

тяжелого дня перед телевизором. Истомин поднял голову. Он увидел в ночном небе половинку луны, тускло светившую сквозь легкое призрачное ночное облако. Здесь, на стройке, у них была своя, особенная жизнь, как будто находились они не на Земле, а на другой планете, отличной от той, на которой живут сейчас все эти люди в соседних домах. И до конца жизни на этой планете сегодня им оставалось уже недолго.

Никандров наблюдал за работой крановщика и его помощников. Рядом с ним, задрав голову, молодой таджик тоже глазел на кран. Истомин подошел ближе.

— Ну что, я готов.

Оба повернулись к Истомину. Никандров назвал парнишку по имени, которое Истомин не разобрал, и — уже обращаясь к парнишке — сказал:

— Это Александр Семенович. Он будет тебе помогать первое время. Ну и смотреть, как ты работаешь.

Парнишка кивнул.

— Вот и хорошо. Слушай, Саш, мне надо бежать, ты уж, будь добр, присмотри за ним. По сменам так сделаем... я устрою вас в одну, переговорю сегодня с Михальчем.

Истомин кивнул, и когда прораб ушел, достал сигареты. Он протянул пачку парнишке, но тот покачал головой. Истомин пожал плечами и отвел взгляд: ему стало жаль этого испуганного, растерянного мальчика. Для синей рабочей куртки он был слишком худ: тонул в ней и едва поворачивался, а черная шапочка, самая обычная, с бомбошкой, сползала пареньку на лицо. Едва ли ему исполнилось двадцать... хотя, может быть, просто молодо выглядит. Киселев знал, от кого избавиться.

— Умеешь кирпич-то класть? — спросил Истомин у парня, тот закивал в ответ.

Когда прожектора погасли, стройка опустела: рабочие отправились по своим вагончикам. Те, кто оставался до завтра, готовились ко сну: кто-то играл в карты, кто-то поздно ужинал, кто-то курил и разговаривал за жизнь с соседями, кто-то сразу заворачивался в колючее одеяло, кое-как запихнутое в белый пододеяльник, и засыпал.

Те, у кого смена на сегодня закончилась, собирали вещи: грязные пустые контейнеры, пропахшие потом свитера, нижнее белье. И спешили к автобусу. К тому времени, как Истомин забрался в развозку, свет в большинстве окон соседнего дома погас: люди ложились спать, — но теперь ему все это было уже неинтересно. Все, чего хотелось теперь, — скорее попасть домой.

Развозка выехала со стоянки и помчалась по ухабистой, изрытой ямами и изломами дороге. Кто-то с последних мест крикнул водителю: «Эй, командир, нельзя ли потише?! Не дрова везешь!» И водитель немного притормозил, но вскоре, когда выехали с этой забытой богом и муниципальными службами дороги на широкий проспект, снова прибавил газу. Мужчины в развозке были молчаливы и безрадостны. За два дня они так уставали, и от работы, и друг от друга, и от разговоров, и от всего остального, что у них просто не оставалось сил радоваться. Даже тому, что они наконец возвращаются домой.

Чуть-чуть не успели проскочить и остановились на красный перед торгово-развлекательным комплексом. Еще несколько лет назад, когда Истомин только начал работать на стройке, на этом месте ничего не было: только пустырь, такой же, как и везде на окраинах города. Теперь же название торгового центра крупными разноцветными буквами горело неонов, завлекая посетителей. Магазины в такой час были уже закрыты, но их вывески все равно подсвечивались ярким белым светом.

Перед торговым центром стоял билборд с рекламой нижнего белья. На плакате девушка в бледно-голубом бюстгальтере с оборочками изогнулась в соблазнительной позе. Но Истомин смотрел на нее совсем не как на объект сексуального желания и вос-

хищения, а скорее как на объект другого мира, другой реальности. Он не задумывался о том, что красивые девушки в таком нижнем белье, которого он сроду не видывал ни на своей жене, ни на какой-либо другой женщине, находятся в одной с ним плоскости. То же самое с другими городами и странами: Истомину казалось, что они попросту не существуют. Для него это была простая формула: я вижу, следовательно, существую. А если нет — это кем-то придумано. Где-то там находилась другая жизнь, но была она такой недоступной, что казалась ненастоящей. Реальной была только стройка — вот что по-настоящему было ощутимо и осязаемо. Красные кирпичи в руках, застывший цементный раствор, испачканная белой краской куртка, треснувший стул, который принес в бытовку его сосед...

Загорелся зеленый свет, и плакат с рекламой нижнего белья остался позади. Помчались дальше по проспекту туда, где горела желтая буква М «Макдональдса», где светофоры и огни машин, спешившие куда-то в этот поздний час. Пустовали автобусные остановки. Зато такси, светящиеся шашечками, дежурили на стоянках и обочинах дороги, поджидая тех, кому скоро нужно будет поехать в ночной клуб или ресторан. Из темноты — то тут, то там, — выныривали ларьки, возле которых терлись редкие покупатели. Сигареты и алкоголь — вот что могло потребоваться им в этот час. На темных, не освещенных фонарями участках дороги, проулках и переулках искали приключений компании пьяных или непьяных, просто буйных малолеток. Задержавшиеся на работе или в гостях одинокие прохожие спешили по зебре в такт шагающему на светофоре пешеходику.

В квартире было темно, двери в обе комнаты закрыты. Истомин снял верхнюю одежду и заглянул в одну из них. Жена, укутавшись в одеяло по самый подбородок, смотрела телевизор. Не поворачивая головы, она спросила:

- Ну что, как?
- Все нормально, — ответил Истомин.
- Там котлеты и вермишель в холодильнике. Поешь.
- Хорошо. Спасибо.

Но сначала Истомин отправился в душ и смыл с себя два дня стройки, с трудом отыскав среди тюбиков и баночек жены и дочери свою бутылку с шампунем. На кухне он плотно закрыл за собой дверь, включил телевизор и достал из холодильника вермишель, разваренную и уже слипшуюся. Истомин переложил комок вермишели в тарелку, добавил сверху сливочного масла и две котлеты, засунул все это в микроволновку. Он уселся за кухонный стол и принялся переключать каналы, ни на одном из них не задерживаясь дольше минуты.

— Пятьдесят каналов, а смотреть нечего, — пробормотал он, откусывая большой ломоть хлеба.

Когда Истомин вернулся в комнату, жена уже спала. Он лег рядом, но сон не шел. Тогда он протянул руку под одеяло, касаясь женского тела и все ближе и ближе подбираясь к груди, закутанной в ночную рубашку. Нашупал грудь и почувствовал возбуждение.

— Ты чего это? — послышался ее тихий голос. — Мне завтра на работу вставать, это у тебя выходной.

Истомин вздохнул.

— Да мне тоже завтра рано. Обещал матери, что приеду.

— А, ну хорошо. Давно пора.

Истомин убрал руку, но еще долго лежал в постели и никак не мог заснуть. Правда, и секса ему больше уже не хотелось. Полежав просто так, бессмысленно глядя в потолок, он встал и вернулся на кухню. Включил телевизор, достал из холодильника кот-

леты, хотя вовсе не был голоден. Остывшие котлеты смотрелись неаппетитно: белый жирок тонким слоем покрывал черно-коричневую корочку. Но он все равно взял одну. Потом отрезал толстый кусок хлеба, приспособил на него котлету, и, не разогревая, принялся есть.

Когда он снова отправился спать, было уже четыре часа утра, но на этот раз заснул он быстро.

4.

Электричка казалась такой неопрятной, как будто здесь никогда не убирали: очистки от семечек прямо в проходе, воткнутый между стеной и сиденьем огрызок яблока, мутные окна, давно не видевшие влажной тряпки (не говоря уже о специальном средстве для стекол). Пахло тоже неприятно: машинным маслом или чем-то вроде этого. И в качестве аккомпанемента за окном проплывал безрадостный осенний пейзаж. Чем не повод прийти в уныние?

Смотреть в окно не хотелось, и поэтому, против своего обычкновения, Истомин занял место ближе к проходу. Наискосок от него сидела женщина в платке и длинной юбке. Она уткнулась в книжечку псалмов и головы от нее не поднимала.

В будний день народу в электричке было немного, а с наступлением холодов его и в выходные становилось все меньше: иссякал основной поток дачников и отпускников. Но редкие пассажиры — в основном, конечно, пенсионеры, плотно упакованные в стеганые куртки, платки и шапки, со старинными походными рюкзаками и плетеными корзинками в руках, — все еще оставались: эти-то и зимой никуда не денутся.

На одной из станций в вагон ввалилась шумная компания, которая — громкоголосо, нарядно — в эту атмосферу совершенно не вписывалась. Присмотревшись, Истомин отметил, что все они одеты в одинаковые зеленые свитера с надписью «Гербалайф»; и среди них только один парень, все остальные — женщины средних лет и неопределенного телосложения. В руках они тащили спортивные сумки и рюкзаки, а за плечами у одной тетки висела гитара.

Парень уселся, закинув ногу на ногу, и широко улыбнулся. Его тут же окружила стайка сопровождающих: каждая старалась занять место поближе. Когда все устроились, он достал из кармана стопку фотографий, упакованных в пакетик салона печати, и начал перебирать их по одной, передавая по кругу.

— Вот здесь я в Париже. Это возле Нотр-Дама. Красота, скажи? А это... это Сакре-Кер, кажется. Какое там все... разноцветное. А вот это уже Сочи, два года назад. Мы туда ездили всей компанией. Вы, кстати, тоже сможете поехать со временем. По нашей программе. Вот смотрите, озеро Рица. Пляж. Опять Рица. Да, это вот я... Смешно, правда? А тут... только держите аккуратнее, за краешки, Ирина! Не заляпайте. Да что же вы!

С синей сумочкой наперевес в вагон неторопливо вплыла контролерша. Она была примерно того же возраста, что и большинство женщин в компании гербалайфовцев, и примерно такого же телосложения. Но чувствовались в ней некая энергия и аккуратность: длинная черная коса, губы, покрашенные красной помадой, форменная одежда.

Пока она проверяла билеты, парень убрал фотографии обратно в конвертик и спросил ее:

— Скажите, милая, а вы вообще знаете, что такое гербалайф? Слышали когда-нибудь?

Контролерша рассмеялась и махнула рукой.

— Что смеетесь? Вы все-таки о нас знаете?

— Конечно, знаю, — ответила контролерша, — у меня сестра этим вашим гербалайфом занималась одно время. Но что-то не пошло у нее. Я так думаю: все это на лошков, разводилово.

— Так она нарушала, значит. Знаете, как это бывает? А если не нарушаешь, то все отлично получается. Правда, девочки? — спросил парень, оглядывая своих подопечных.

— Нет, — снова рассмеялась контролерша, — не могла она нарушать, я свою сестру знаю. Она очень ответственно ко всему относится и нарушать не могла. Поначалу она скинула, хорошо, прилично скинула. Но потом все обратно набрала, даже больше. Так что не верю я ни в этот ваш гербалайф, ни в кремлевские диеты, ни во что.

— Да полно вам! Зачем кого-то слушать? Вы сами попробуйте. Давайте я вам расскажу про нашу продукцию поподробнее?

Контролерша снова рассмеялась.

— Нет уж, спасибо. Я вон лучше пирожок с мясом съем. Через две станции бабушка будет такие пирожки продавать! Закачаешься! Хоть с мясом, хоть с капустой, хоть яйцом, хоть с чем. Но по мне, так с мясом — самые вкусные.

Парень рассмеялся и провел рукой по волосам, а следом за ним засмеялись и остальные. Только одна из сопровождающих, с озабоченным выражением на лице, дергала парня за рукав, пока он наконец не обратил на нее внимания.

— Посмотри, вон, — зашептала она, указывая в конец вагона, — видишь, толстая женщина сидит? Может быть, подойти к ней и предложить? Как думаешь?

— Ну, пойд и предложи.

— А может быть, ты сходишь со мной?

— Нет, нет, — ответил парень тихо, — ты должна сама это сделать. Сама, одна. Иди к ней и поговори. Можешь Ирину с собой взять, если уж одной никак не получается. Давай, удачи.

Женщина нехотя поднялась с места и направилась к толстухе, а парень продолжил трепаться с контролершей, которая то и дело заливалась смехом, но сломить себя не давала. «Все равно я куплю пирожок. Жареный. А вы как хотите».

Истомин и сам не заметил, как улыбается и с удовольствием смотрит на красивую контролершу, до тех пор, пока не поймал взгляд парня. И тогда, смутившись, Истомин отвернулся в другую сторону. Перед глазами вновь возникла женщина в длинной юбке и платке. Она все еще читала книжечку с псалмами и не обращала внимания на шумную компанию, как будто их здесь и вовсе не было. «Удивительно», — только и успел подумать Истомин, как тут поезд начал останавливаться. Пришлось встать и спешить к выходу. Было немного жаль, что он так и не узнает, чем закончилась вся эта история. А может, она, как и в жизни, не имеет окончания и просто оборвется на очередной станции.

Было пасмурно, но нехолодно. Воздух легкий, прохладный и свежий — дышалось им легче, чем в городе. Наверное, это все из-за леса, который так и манил Истомина своей могучей многовековой красотой. Сосны всегда удивляли его: странно, что они стояли здесь, когда его еще не было, и будут стоять по-прежнему, когда его уже не станет. Спешить не хотелось, и прежде чем пойти к матери, Истомин присел на скамейку и достал сигареты. На перроне никого, да и на самой станции тоже пусто. Мимо промчался товарняк, и где-то вдалеке залаяла собака. Ее лай тут же подхватили все деревенские псы.

Он бы сидел здесь и дальше, но становилось холодно. Да и мать ждала — еще решит, что он передумал. Истомин поднялся и по протоптанной тропинке, которая лежала через редкий пролесок, направился к деревне.

Мать встречала у калитки: не могла дождаться и выскочила на улицу. В куртке, накинутаю прямо на халат, и резиновых галошах на босу ногу; лицо покраснелось от холода. Длинные седые волосы свернуты в тугой пучок, но несколько прядок выбились из прически и топорщатся в разные стороны. Она широко улыбнулась, увидев наконец знакомую фигуру, и помахала ему. Истомин подошел, они крепко обнялись.

Он спал в гостиной на диване.

Постельное белье было свежим и крахмально-хрустящим. В маленькую форточку задувал ветерок. В комнате слабо пахло сушеными травами: мать рассовывала по шкафам и подушкам маленькие мешочки с ромашкой, зверобоем и мятой. Когда он был маленьким, то больше всего любил засыпать в прохладной комнате, на свежем белье, вдыхая этот исключительный аромат трав и цветов, которые мать собирала своими руками, — казалось, что стоит только подумать об этом, как его клонит в сон. Но теперь Истомин лежал и не мог заснуть. Он смотрел в потолок и смутно думал о разном: о контролерше с черной косой, о матери и о том, как живет ей здесь одной, о стройке и о том, «что там интересно сегодня делается», — хотя ясно, что ничего нового. Думал он и о Гришке.

За ужином мать рассказывала ему о последних новостях, которые повторялись раз за разом в каждый его приезд сюда. Еще кто-нибудь умер — обязательно. Кто-нибудь уехал навсегда. Николаша, местный алкоголик, неплохой вроде мужик, особенно когда в завязке, опять разгуливал с ружьем. Все местные к этому давно уже привыкли, но все равно нехорошо. Тесто на пироги не поднялось в прошлую пятницу — наверное, потому что тринадцатое (да и кому есть эти пироги? — спросила мать, хотя он знал, что она все равно будет их печь). Кот Борька опять сбежал, вот ждет его теперь, оболтуса, когда тот нагуляется и вернется обратно. Молоко привозят по графику, с этим все в порядке. Точно так же, как и с хлебом. Хотя вот Аксинья и сама печет не хуже, у нее хлебопечка теперь есть, ей дети купили, ну она в прошлый раз рассказывала. Хлебопечка дорогущая... Вдруг мать замерла на полуслове.

— Забыла же совсем сказать! Говорю, а не про то! У Натальи-то радость: Гришка вернулся.

— Гришка? — и Истомин тут же вспомнил белобрысого растрепанного мальчишку с бандитской улыбкой, широкой и наглой, открывающей все его тридцать два зуба со щербинкой посередине. Мальчишку, с которым они курили за сараем его бабушки, который однажды чуть не спалили. Мальчишку, с которым он в первый и последний раз дрался из-за девочки. По носу и щербинке белобрысого тогда текла кровь, и он кричал тонким голосом: «Да больно нужна мне твоя страхолюдина!» За что снова и получил по кумполу. Был ли избит его противник, то есть сам Истомин, — он не помнил и вспомнить никак не мог. И из-за кого они тогда поссорились — тоже. Впрочем, в основном они дружили, — были «не разлей вода», что называется. Где-то у мамы, наверное, можно найти их фотографию: один мальчишка стоит прямо, смотрит в камеру, не улыбается, второй же смеется во весь рот, поза его как будто изгибается, волосы вьются, повторяясь вслед за телом. Мальчишки держат друг друга за плечи, но не отстраненно, а крепко, по-настоящему.

— Вышел наконец, — сказала мать.

— Вышел? Откуда это?

— Ну, он же сидел.

Этого Истомин не знал, а может, и знал, да забыл. Он уже столько лет не виделся с Гришкой, столько лет не вспоминал о нем. Впрочем, неудивительно, как сложилась его судьба с таким-то характером.

— Может, сходить к нему? — спросил Истомин сам себя.

— Сходи, конечно. Он обрадуется.

Обрадуется ли? Думая об этом теперь, в темной прохладной комнате с мятно-ромашковым запахом, Истомин сомневался. И больше всего сомневался в том, нужна ли ему эта встреча. Когда какие-то люди остаются в прошлом, может, там их и оставить навсегда?..

Истомин проснулся от звуков наступившего утра: за стенкой мать готовила завтрак. Тихонько скрипнула дверь, стукнулась крышка о кастрюлю, зашкворчала сковородка, и закипел чайник. Но открыв глаза, Сашка еще долго лежал в кровати и смотрел то в потолок, то на стены вокруг. Все было такое родное, знакомое и в то же время — далекое. Казалось, что дом застыл во времени. Сам он, Истомин, вон уже сколько раз изменился. Можно даже представить, что вместо него тут родился и жил когда-то кто-то другой, а вот дом так и остался таким, как прежде. Пожелтевшие от времени обои с цветастым узором, вязанная крючком скатерть под пустой вазой, задувающий из приоткрытой форточки ветер — за ночь комната выстудилась, стало холодно.

После завтрака Истомин вышел на улицу. Гришка жил в самом конце дороги, и Истомин направился в ту сторону. Но шел он медленно — нога за ногу. Остановился возле знакомой калитки, да так и остался стоять. Подумал: она всегда была зеленая, или ее перекрасили? В окнах за белыми тюлевыми занавесками ничего не видно: есть там Гришка, нет его?

Мать сказала, что он пьет теперь. «Ну а что еще делать остается», — добавила она. Работы нет, перспектив нет, денег тоже. За что посадили? Да какая-то растрата на предприятии, где он работал. А кем работал? Так бухгалтером.

Гришка? Бухгалтером?

Как-то даже в голове не укладывалось. Впрочем, он ведь всегда умным был, несмотря на то, что хулиганистым. Мать сказала: «А ты не знал? Два высших образования». Нет, откуда ему знать.

Бухгалтер? Уголовник?

А сам-то он кто? Раб стройки, которая уже вечность тянется. Батрак, который изо дня в день кладет кирпичи, выстраивая одну большую стену, которая все никак не может закончиться.

Нет, нет. Они — те мальчишки на велосипедах, которые мчатся по лесной тропинке между сосен. Тут так славно пахнет! Так свежо и приятно. И в карманах колются шишки, которые они зачем-то набрали в лесу. Или вот другая картинка: мальчишки отчаянно трут в ладонях бледно-розовые цветы. Как это растение называется — мыльница? Нежные лепесточки растираются до того, пока на пальцах не появляется легкая, едва заметная пена... Вспомнилась и та девочка: у нее были длинные, белые с золотистым волосы и торчащие лопатки. Нежная спина с пушком светлых волос и выступающие точки позвоночника — как он хотел поцеловать их! Зацеловать ее всю, от макушки до кончиков. Он не помнил ее лица, не помнил ее имени, только этот пушок на спине, торчащие лопатки и позвоночник. Стоило ли им из-за нее тогда ссориться?

Истомин постоял, посмотрел еще немного на окна и пошел обратно. Может быть, когда-нибудь, в следующий его приезд они и увидятся. Ему все равно домой пора: завтра на работу — никто не отменял.

К станции Истомин подошел в сумерках. Мать хотела его проводить, но он уговорил ее остаться: еще с утра она жаловалась на больные ноги. Пришел заранее: не любил торопиться, не любил опаздывать. Здесь уже ждали редкие пассажиры — загулявшие по осени дачники. Воздух был удивительно чистым и прозрачным, небо переливалось причудливыми красками, сосны молчаливо высились на той стороне от станции — казалось, что в ушах сейчас зазвенит от этой красоты и напряженности.

Но вместо звона раздались громкие голоса: местные бабки с кем-то вяло переругивались.

— ...Да ладно, че те, Марь-Пална... — донесся до него обрывок фразы.

Истомин повернулся на голоса.

— ...Ирод, отсюда. И к моему старику не ходи сегодня, нет у него ничего!

— Так ты мне дай... — говорил лохматый мужик в широком дутом пуховике.

В одной руке у него была сигарета, в другой — тряпичная сумка в цветочек, из которой торчало горлышко бутылки.

— ...Вот и получишь.

Истомин отвернулся. Он тут же узнал лохматого бродягу, узнал его улыбку и щербинку между зубами (он ее не мог видеть с такого расстояния, но знал, что она там). Взглянул на часы: до электрички оставалось две минуты. Всего две минуты, но почему они так долго тянутся? Так и не поворачивая головы, он продолжал слышать Гришкин голос, который просил у кого-нибудь из собравшихся добавить ему на бутылку. Но когда подошла электричка, Истомин все же не выдержал и обернулся.

Вальяжно, будто чувствовал себя директором предприятия, Гришка стоял перед бабками и курил, выпуская изо рта густой дым, казавшийся особенно густым и белым в этом чистом прохладном воздухе. Он смотрел прямо на Истомина. Может быть, Гришка и не видел его, может быть, и не узнал — по крайней мере, ничем не выдал он своего знания: ни махал ему, ни кивал. Он просто смотрел на Истомина.

И тут Сашка пожалел, что смалодушничал сегодня днем, он пообещал себе, что в следующий раз обязательно ходит к Гришке и не будет больше стоять возле калитки, а пойдет, как полагается, и поговорит обо всем: о Гришкиной жизни и о том, как вышло так...

Истомин не знал, что на станции он видел Гришку в последний раз и проявить великодушие, вспомнить забытую дружбу ему больше не представится возможности. Через несколько дней после их невольной встречи Гришка уедет куда-то на север — то ли на заработки, то ли еще зачем — и больше уже не вернется.

5.

Вадик завернул за угол школы и остановился.

— Ну, доставай, — сказал он.

Парнишка выпучил глаза. Интересно, почему говорят «стали по пять копеек»? Пять копеек — это так мало, и потенциально, и физически... Вадик вздохнул и убрал руки в карманы — снова всякие мысли лезут невпопад. Ему стало жаль этого чудика, который никогда и никому ничего плохого не делал. Но он, Вадик, был сильнее, и казалось, что это дает ему право... Ну вот опять! Он изо всех сил мотнул головой.

Тем временем парнишка вытащил из кармана две помятые сотни и какую-то мелочь.

— Все, что есть. Правда.

— Че-то мало. Они не знают, что ты покушать любишь, а, поросеночек?

— Мне на еду и не дают. Это на проезд.

Голос его дрожал, в глазах стояли слезы.

— Это на проезд. Пожалуйста.

От неожиданности у Вадика отвисла челюсть — и в прямом, и в переносном смысле. Он и раньше кое-кого щемил, и пухляша этого тоже, но такого... Вот тряпка! Они, что, в пятнадцатом веке? Хотя при чем тут пятнадцатый век? Может, что-то там было такое, и поэтому ему подумалось...

Вадик вздохнул, протянул руку и сунул парню в ладонь его же мелочь, даже не посмотрев, сколько там.

— Держи. Вот тебе на проезд, и только попробуй кому-нибудь вякнуть. Усек?

Парнишка кивнул, вытер слезы и поплелся за угол школы.

— Остальное, скажешь, потерял. Понял меня?

Вадик прислонился к стене, достал сигареты и закурил. Это было слишком, да? С пухляша станется. Еще возьмет и нажалуется мамочке. Но на проезд же он ему отдал — хватит там, наверное?

На последний урок — технологию — Вадик решил забыть. Не то чтобы он был заядлым прогульщиком, просто не любил тратить время попусту. Ему больше нравилась математика: в ней он разбирался, понимал и любил ее. В следующем месяце даже собирался на олимпиаду. Правда, друзьям об этом не говорил: боялся, что застебнут, назовут ботаном. Они все дураки и лентяи, не понимают ничего. Математика важнее всего сейчас, и в жизни с ее знанием будет проще устроиться. А технология? Да ну, тьфу, пустая трата времени. Как отец, стать рабочим на каком-нибудь бесконечном строительстве? Этого он боялся до смерти. Работать до крови и пота, на жаре и холоде, вообще в любых условиях — нет уж, пожалуйста. Нашли дурачка...

— Так-так, Истомина, — раздался вдруг голос на ухом, — опять курил?

Марина Николаевна оказалась в этот час на школьном дворе совершенно не к месту. Вадик помотал головой.

— Не курил и даже не думал, — нахально ответил он.

Но Марина Николаевна была не из тех, кого можно так просто провести. Втянула носом воздух.

— Вадим, я тебя в последний раз предупреждаю. Если увижу с сигаретой, до олимпиады не допущу.

«Ага, как же», — подумал Вадик, но вслух этого не сказал. Вероятность, что училка исполнит свою угрозу, оставалась: иначе стала бы она давить на то, что ему так важно? Другая просто предкам бы пожаловалась. Но Марина Николаевна знала: Вадика этим не проймешь.

— Вы же ничего не видели, — сказал он.

— Вот и считай, что тебе повезло.

Лучше было не спорить, и Вадик со всех ног помчался подальше от школы, пока училка не начала допытываться, почему он не на уроке. Две сотни жгли карман, и он завернул в «Пятерочку», купил шоколада, чипсов, газировки. Хотелось повалять дурака в одиночку, но оказалось, что сестрица уже дома.

— Ты че так рано? — спросила она, выглядывая из комнаты, телефонная трубка прижата к плечу.

— А ты?

Она ничего не ответила и снова скрылась за дверью. Вадик разделся, вымыл руки и разогрел вчерашнего супа. Перелить суп в тарелку он поленился и ел прямо над плитой, щелкая пультом от телевизора. Услышал, как хлопнула дверь в ванную. Долго шумела вода, потом дверь снова хлопнула. На кухню Сонька заходить не стала: в последнее время есть она отказывалась.

Вадик помешкал несколько секунд перед дверью и вошел в их общую комнату. Сонька валялась на диване и листала какой-то альбом.

— Так ты совсем отощaeшь, — сказал Вадик, — хочешь «Принглс»?

Сонька посмотрела на него, но промолчала.

— Или «Твикс»?

Сестра вздохнула. Кивнула. И Вадик вывалил на диван свои покупки.

— Что там у тебя? — спросил он, когда они принялись разворачивать цветные обертки.

— Старые фотки. Убирала кое-что в шкаф, они выпали мне прямо в руки. Сто лет уже этот альбом не видела.

— Можно мне? — и Вадик потянул уголок альбома на себя.

Они так и не поняли, с чего вдруг им пришла в голову эта затея: съездить и посмотреть на стройку. Как-то само собой получилось, когда измазанными в шоколаде руками, с прилипшими на пальцах крошками от чипсов они стали листать фотографии. Крошки с пальцев падали и застревали между страниц старого альбома. Запах сметаны и лука. Лучше бы, конечно, сырные, но их сегодня не было.

Сначала смотрели на себя в детстве: смеялись друг над другом и над самими собой. Пока неожиданно им в руки не выпала газетная вырезка, заложённая между страницами, — раньше они ее не видели. Это была большая статья о начале строительства объекта государственной важности. Была здесь и общая фотография рабочих и чиновников, которые тогда, в первый день находились на стройке, на ее открытии. И внезапно среди незнакомых лиц прошлого времени дети нашли своего отца, хотя не сразу это поняли... На фото он оказался таким, каким они никогда его не знали: молодым, худым и красивым, — трудно было поверить в то, что это и в самом деле их отец.

Вырезка была с заломами, выцветшая от времени. Текст на сгибе читался плохо, но они все равно разобрали полустертые буквы, — правда, позже, когда уже ехали в автобусе.

— Я ведь никогда там не бывала, — сказала Сонька, — мне неинтересно было, а отец не звал. А теперь думаю: может, зря? Хорошо, что ты предложил.

Вадик нахмурился:

— Но это же ты предложила.

Они хотели было поссориться, как делали это обычно: «Ты!» — «Нет, ты!» — «Нет, ты, отстань!» — «А я говорю, что ты!» — «Ма-а-а-а-ам-а-а-а!», — но ссориться не захотелось. И в молчании они отвернулись друг от друга.

Когда дети вышли из автобуса, на улице уже стемнело. Ветер здесь был как будто сильнее, хотя, может, им это только показалось. А может, это и не ветер вовсе холодил кожу, а смутное ожидание встречи с отцом, неясное волнение, как будто они актеры и должны вот-вот выйти на сцену. Оба, не сговариваясь, натянули капюшоны поверх шапок.

Но чем ближе к стройке они подходили, тем меньше и сами понимали, зачем приехали. Хотя до огромного, возвышающегося над остальными домами здания было уже рукой подать.

— Ты чего хочешь? Найти его там? — спросил Вадик.

Сонька пожала плечами, стащила капюшон и поглубже натянула шапку.

— Не знаю. Посмотрим. Давай просто посмотрим, а?

Вот и забор из высокой металлической пластины. За ним — Объект Государственной Важности. Хотя в Интернете и писали, что он еще далек до завершения, само по себе живую строение внушало почтение. Брат с сестрой остановились.

— Огромное, — сказала Сонька.

Они посмотрели друг на друга. Ветер трепал меховую оторочку на куртке Соньки, Вадик натянул шарф по самый нос. Здесь и правда было очень холодно. Отец как будто всегда говорил об этом, но они не очень-то верили.

— Ну что, пойдём? — спросила Сонька.

Они подошли совсем близко, так, что могли из приоткрытых ворот наблюдать за мельтешением на стройке. Несмотря на то, что был уже вечер, здесь казалось, будто самый разгар дня. Рабочие в синих спецовках суетились, ходили туда-сюда. То вверх, то вниз, то в одну сторону, то в другую. Где-то среди них — их отец.

На одном месте стоять было холодно, щеки покраснелись, глаза слезились от ветра, хотелось есть. Но ни тот, ни другой не решался предложить крамольное: просто уйти отсюда.

— Та-а-а-а-а-к, и что это вы тут делаете, ребятаки?

Оба испуганно вздрогнули и обернулись. Перед ними стоял невысокого роста мужичок с пышными усами, похожий на хоббита. Он был без шапки, и ветер трепал его русые с проседью волосы. В руке — раздутый продуктами пакет.

— Мы... мы просто посмотреть, — сказал Вадик неуверенно.

— Просто посмотреть, — усмехнулся «хоббит», — здесь нельзя без каски находиться, вы это знаете?

Он как будто хотел быть строгим, но при этом так улыбался, что дети совершенно растерялись и молча стояли перед ним.

— На экскурсию, что ли, хотите? Так это вам надо в выходной днем прийти, и каски обязательно. Ну, каски я вам выдам, просто предупредите заранее. Приходите в субботу, я все устрою, проведу вас, покажу, что где. Наверх, конечно, забираться не будем, но оттуда вон посмотрим.

— Хорошо, — сказала Сонька.

— До сколько в субботу учитесь?

— До двух.

— Вот и отлично. Тогда после двух жду вас здесь. А теперь лучше вам отсюда уйти, поздно уже. Да вы еще и без касок. Понимаете?

«Хоббит» напоследок улыбнулся и ушел вперед к огням, шуму и мельтешению, а брат с сестрой пялились ему вслед.

Они никогда так и не рассказали отцу, что приезжали тогда на стройку. И в субботу ни на какую экскурсию, конечно, не поехали.

6.

В двенадцать часов дня кран замер, и строители, лениво волоча за собой инструменты, отправились обедать. Только на верхних этажах несколько человек продолжали разгружать кирпичи, но скоро они тоже закончили и исчезли. Стройка на время вымерла: ветер шевелил защитную пленку, зажатую кирпичами, на земле валялись мотки черного провода, замер одинокий, покинутый всеми инструмент для подкачки воды. Хлопнула дверь синего экотуалета (кто-то забыл закрыть ее до конца), из ниоткуда вынырнул строитель и побежал к нему.

Истомин достал из общего холодильника пакет, вынул контейнер, разогрел в микроволновке еду. И бегом, пока она не успела остыть, отправился к себе в бытовку.

В этот вагончик Истомин переехал недавно — Михалыч подсуетился. Вагончик был новый, современный, закуплен в последней партии вместо старых, списанных бытовок. Из-за современной обшивки и изоляции в обычные дни здесь было тепло даже без обогревателя. И сегодня тоже: по крайней мере, гораздо лучше, чем там, наверху, где гулял пронизывающий ветер. Истомин уселся на кровать, открыл контейнер. В масле, которого оказалось чересчур много, плавали макароны и сардельки. Жена готовила старательно и калорий не жалела, хотя большая часть сливочного масла, которое она плюхнула в макароны, была явно лишней. Однако Истомин, заедая их куском белого хлеба, наслаждался этим вкусом.

Современные диетологи пришли бы в ужас от таких грубых нарушений норм и правил питания, но Истомин был в вагончике один, и ничто не мешало ему есть так, как вздумается. Пища была не целью и не наслаждением, а топливом, которое подпитывает организм: хватит и того, что она простая, понятная и недорогая. Истомин не жаловался на плохой обмен веществ, да и физическая нагрузка была соответствующей: тело еще успевало перерабатывать то количество жиров и углеводов, которое он потреблял. Но в районе живота и второго подбородка становился заметен лишний жирок. Он

не толстел — не то это слово, — тело его скорее расплывалось, теряя свои очертания и острые углы. Лицо стало шире, щеки подпустились вниз. Каждый прожитый год, даже если и был он ничем не примечателен и ничем ему не запомнился, накладывал свой отпечаток: он ложился на него бесшумно и незаметно, когда Истомин возвращался домой в развозке после смены (тогда чуть глубже становилась морщинка у переносицы), или когда они с женой сидели вечерами на кухне и просчитывали, какой им взять кредит и как его выплатить (тогда другая морщинка прорезала лоб), или когда они пили пиво с Михалычем и мечтали о том времени, когда стройка наконец закончится.

После обеда Истомин немного вздремнул и на участок вернулся в хорошем настроении. Он пришел немного раньше обычного: здесь пока никого не было, кроме новенького. Таджичонок со всем рвением, которое только нашлось в его тщедушном теле, клал кирпичи, заливая их раствором.

— Ты уже пообедал? — спросил Истомин.

Таджичонок кивнул.

— Куда-то ходил? — Истомин поинтересовался скорее из вежливости, но таджичонок в ответ улыбнулся и развел руками.

— Да не ел я, начальник. Деньги все в вагонке оставились, а в холодильнике ничего моего нету.

— А с вагончиком что?

— Да заперт мой вагонка, кто-то унес ключ, наверное. Они на другом участке, я не знаю где, не могу найти. Что делать мне было, а? Вот и пришел сюда, думаю, хоть поработать.

Истомин покачал головой.

— Так нельзя, — сказал он, засунул руку в карман рабочей куртки и вытащил оттуда сотню.

Протянул таджичонку деньги.

— Сбегай купи себе чего-нибудь. Лапшу или чебурек, например. Разогрей и поешь нормально, только обязательно горячего. И чаю выпей или кофе, чтобы не всухомятку, иначе быстро загнешься тут. Язву себе наживешь или похуже. А про ключ я узнаю у Михалыча, у тебя свой должен быть. Понятно все?

— Спасибо, начальник, спасибо.

— Да не надо меня начальником называть. Начальники тут другие, а меня Саша зовут.

— Хорошо, начальник Саша.

Истомин махнул рукой, и таджичонок тут же исчез из поля зрения.

Вернулся на стройку он так же незаметно: встал рядом с Истоминным и принялся ждать, пока тот отвлечется от работы.

— Начальник, на. Возьми вот сдачу, остальное вечером отдам.

Он протягивал какую-то мелочовку, от которой Истомин хотел было отказаться, но лицо таджичонка было такое серьезное, такое скорбное, что он без слов взял монеты и положил их в карман. И вдруг как будто что-то вспомнил, повернулся к парнишке и спросил:

— Как хоть тебя зовут-то, а? Не расслышал я.

— Сайджан, начальник.

— Как-как?

— Сайджан. Ну, можно Саид называть, так понятнее.

— Саид, значит, — повторил Истомин, потом повторил еще раз и вернулся к работе. Но тут же прекратил и поднял голову: с неба начали падать тяжелые холодные капли дождя.

Те дожди зарядили на месяц. Иногда это были лишь морозящие брызги, иногда — бушующие ливни, когда даже под зонтом невозможно было пройти к месту назначения, и люди сбивались под крышами, в магазинах и на остановках, чтобы переждать этот поток льющей с неба воды. Но чаще дождь случался ровный, спокойный: он возникал вдруг монотонной пеленой за окном и становился такой привычной частью пейзажа, что к вечеру те, кто сидел дома или в офисах, переставали замечать, какая в действительности на улице погода.

Работа на объекте практически встала. Строители только разносили грязь по всему участку, ближайшему магазину и вагончикам. Смены оставались сменами — никуда от этого не денешься, и на работу по-прежнему приходилось ездить через каждые двое суток. Как только дождь ненадолго прекращался, на участках раздавались пронзительные голоса прорабов: «Ну, чего расселились-то!? За работу, за работу! Дождь давно закончился». И строители нехотя — из-за дождя они все время были немного сонные — поднимались со своих насиженных мест и шли работать. Холодный ветер задувал под теплые куртки, под шарфы, замотанные на горле, и шерстяные шапочки, пробирал до костей — так, что они физически его чувствовали, — и работать не хотелось больше прежнего.

Настроение тоже было под стать погоде — грустное и мрачное. Если на работе еще ничего, то дома Истомину приходилось одному справляться со своим депрессивным состоянием. Дети в школе, жена на работе. Он не знал, куда себя девать. Ведь правда, что трудолюбие, что лень — всего лишь дело привычки. А Истомин не привык столько времени сидеть без дела. Он привык к тому, что работать — значит работать, а не просто убивать время, и теперь, когда и в рабочие-то дни делать было особенно нечего, в выходные он так и вовсе страдал. Время, проведенное им в пустой, как будто застывшей квартире, вдруг останавливалось и начинало казаться вечностью. Истомин не заправлял кровать до обеда, валялся на диване и смотрел сериалы да ток-шоу для домохозяйек. Он ел бутерброды и пил крепкозаваренный черный чай с сахаром. Иногда поглядывал в окно, но каждый раз, как видел там дождь, думал только о том, что стройка опять простаивает. Он представлял, как рабочие, пристроившись на ступеньках своих вагончиков, одетые в плащи-дождевики и высокие резиновые сапоги, молчаливо курят и точно так же, как и он сейчас, смотрят на дождь. И тогда ему начинало казаться, что стройка никогда, никогда не закончится.

К обеду, когда дети возвращались из школы, Истомин все же немного приводил себя и квартиру в порядок, разогревал всем еду и накрывал на стол. Сонечка чаще всего отказывалась от еды и, взяв йогурт или кефир, уходила в комнату. За столом оставались они вдвоем: отец и сын.

— Как дела в школе? — интересовался Истомин у Вадика время от времени.

— Нормально, — отвечал тот.

Разговор быстро иссякал, чему втайне были рады оба. Истомин понимал, что ему вроде бы надо поддерживать беседу — так принято в отношениях между отцом и сыном, — но он не знал, о чем спрашивать Вадика и что говорить самому. Не особенно задумываясь над этим, Истомин решил для себя, что все дети такие (дочка-то вон тоже!): не любят они общаться со взрослыми. Тот факт, что его ребенок живет в каком-то своем мире, ему недоступном и неведомом, не вызывал у Истомина никаких эмоций. А если быть до конца честным, он и не думал об этом. Как дети не думают о том, что у их родителей где-то там, когда они являются не только их родителями, есть своя, человеческая, насыщенная событиями и эмоциями жизнь. Как привыкли дети представлять себе, что родители с утра до ночи только их родители, так и Истомин представлял своего сына Вадика просто своими сыном Вадиком.

Жена приходила домой поздно, в восьмом часу. Она была одной из тех женщин, которых каждый день встречаешь в маршрутках по пути домой или на работу. Одевалась просто, без изысков, одно и то же пальто носила до тех пор, пока не износится. В юности у нее были гладкая кожа, естественный румянец и приятная, открытая улыбка. Теперь же глаза не блестели так, как прежде, лицо изрезали морщинки, да и улыбалась она все реже.

Вместе с остальными, такими же уставшими, голодными и вечно недовольными людьми, она возвращалась домой в переполненном автобусе: впихивалась в маршрутку и, держась за воздух или с трудом цепляясь за какой-нибудь поручень, пыталась отсчитать за проезд. Иногда ее радовала и грела мысль, что сегодня вечером дома муж, а это значит, хотя бы ужин готовить не надо, но иногда и этой радости не было.

Простая еда: грибной суп, картошка с мясом и салат. Еще Истомин открыл банку соленьев и нарезал черного хлеба. Выставил на стол сметану — к супу. И вышел навстречу жене, вытирая руки о полотенце.

— Привет, — сказал он.

Протянул руки, чтобы взять пакеты из магазина, но тут появился Вадик, выхватил их и полез внутрь «чекупила».

Ничего особенного: хлеб, сахар, сосиски, молоко.

— Разбери, — велела ему мать, и Вадик скрылся на кухне вместе с покупками. Истомин пошел за ним.

Через несколько минут они сидели за столом и ужинали. По телевизору опять бубнил какой-то сериал, но Истомин мало обращал на него внимания.

Он смотрел куда-то в пустоту и без конца катала шарик хлеба по столу.

— Па, ты че делаешь? — спросил Вадик.

— Опять весь день льет, — вместо ответа сказал Истомин, — опять простаиваем...

— Как всегда, — вздохнула женщина.

7.

В начале ноября рядом со стройкой открылась забегаловка, где можно было купить курицу-гриль или хот-дог. Полный ассортимент был представлен в самодельном меню, отпечатанном на принтере: посетителям приходилось продирааться сквозь пестроцветие ярких красных букв на желтом фоне. Внутри стояли неустойчивые столики на длинных ножках, воняло пережаренным маслом, картошкой и «Жидким дымом». На столиках красовались грязные разводы от кофе и крошки, которые продавщица лишь изредка стряхивала. Несмотря на это, место быстро стало популярным у строителей, на которых и рассчитывали: в обед они могли здесь перекусить, а по вечерам пропустить по паре бутылочек пивасика или чего-нибудь покрепче. Забегаловка сразу стала неотъемлемой частью пейзажа и их жизни, так что они быстро забыли, что когда-то ее здесь не было.

Перед Новым годом работа шла вяло: днем еще ничего, но вечерами бегали то за подарками, то за продуктами, то по другим делам. Канун тридцать первого декабря тоже не стал исключением: все куда-то разбежались, и в закусочной царили непривычная пустота и тишина. Ленка, продавщица, тоже скучала. Она всегда казалась уставшей, какой-то замороженной, но с посетителями была неизменно вежлива и приветлива. Совсем не по-женски она курила «Золотое кольцо» и была не прочь другой раз пропустить рюмку водочки.

— Привет, Сашк, — улыбнулась она, — что-то никого из ваших не видать.

Истомин пожал плечами.

— Лен, будь добра, мне пива бутылочку и гамбургер.

— Пиво какое?

Истомин пробежался взглядом по ряду бутылок, выставленному в холодильнике: все они были примерно одного класса и одной ценовой категории.

— А, да любого, — махнул он рукой.

— Здесь или с собой?

— Здесь.

Ленка бросила в микроволновку бумажную тарелку с гамбургером, достала пиво, ловко открыла его и рассчитала Истомина. Микроволновка пропищала, и Ленка передала Истомину заказ. Он встал за пустой столик лицом к окну: над стройкой горел прожектор, освещающая ее во всю мощь. На сегодня они уже закончили, но кое-где, на самом верху, еще мельтешили фигурки в фирменных курточках.

Дверь забегаловки хлопнула, Истомин повернулся на звук. За время, проведенное им на стройке, жизнь никак не обтесала Саида: он оставался все таким же худым, нескладным и несуразным, каким Истомин увидел его в первый день. Таджичонок потоптался на пороге, осматриваясь. Заметив Истомина, он улыбнулся, Истомин кивнул ему в ответ.

Саид встал рядом. В руках он держал хот-дог и бутылку пива.

— Можно, начальник?

Истомин пожал плечами и подвинулся. Таджичонок откусил булочку и принялся сосредоточенно жевать.

— Ну и как тебе здесь, нравится? — спросил Истомин.

— Мне очень все нравится! — заулыбался таджичонок.

— А давно ты в России?

— Два года будет. Как восемнадцать исполнилось, так и уехал.

— Откуда уехал?

— Так из дома. У нас все уезжают. Там денег нет, работы нет, ничего нет.

Истомин хлебнул пива, помолчал. Таджичонок медленно жевал свой хот-дог, и лицо у него при этом было какое-то удивленное, беспомощное — такое его отражение видел Истомин в окне.

— И как, — спросил он скорее из любопытства, — получается подзаработать-то?

Парнишка пожал плечами.

— Отправляю домой кое-что. Им хватает: на еду, на жизнь. У меня там родители и младшие сестры. Раньше отец в Россию ездил, теперь я. Он водителем работает. Старенький уже стал, тяжело. Вы, говорит, сыновья, вы и ездите, я здесь буду подшибивать.

— Так у тебя еще и братья есть? Тоже здесь, в России?

— Один брат, один! Старший. Да только теперь... нету его. Пропал.

— В каком смысле пропал?

— Уехал сюда, в Россию, я учился еще. Он долго тут жил, несколько лет. Писал-звонил, деньги посылал, хоро-о-о-ошие... приезжал на праздники, а потом... ничего.

— Как это — ничего?

— Ничего, — пожал плечами таджичонок, — никто не знает, чего с ним. Мать больше всех убивается. Говорит: хуже нет, что не знаешь. Случилось чего или просто... Я ду-мал, может, найду его, да только как тут найдешь.

Истомин достал сигареты и кивнул парнишке.

— Можно, да? — обрадовался Саид и потянулся за сигаретой.

— Ленк, пепельницу возьми? Спасибо, ага. — Истомин вернулся к столу. — Так ты на Новый год и домой не поедешь?

— Нет, начальник, не поеду. Дорого. У нас все зимой ехать хотят: здесь холодно. Мы трудно перенести такой холода, — Саид заулыбался, затягиваясь сигаретой.

— И где будешь отмечать, а?

— Так здесь, начальник, — рассмеялся таджичонок, — в нашей кухне. Тут еще ребята остаются, с других участков тоже. С ними и соберемся. Купим готовый салат, курица, водка и отпразднуем.

— И Михалыч разрешил? — недоверчиво спросил Истомин.

— Разрешил, разрешил! Только чтобы драк не было, ну потише там... Он, может быть, и сам придет: за порядком последить, нас проверить, хотя, мне кажется, не для этого... — Саид рассмеялся, — да каждый год остаются, начальник! Ты просто никогда об этом не спрашивал.

Истомин допил пиво, повертел в руках пустую бутылку и поставил ее обратно на стол.

— Ладно, пойду я. Завтра последний день, до обеда работаем. А потом — по домам и неделя праздников.

Таджичонок кивнул с важным видом.

— Я тебе желаю, начальника, большого счастья и удачи в новом году! — сказал он. — Пусть у тебя все сложится.

— И тебе, Саид. Тебе я тоже желаю всего хорошего.

* * *

Когда после недели праздной жизни будильник снова прозвенел в пять утра, жена пошевелилась под одеялом и перевернулась на другой бок. За окном — темень. Вставать в такое время никому не хочется: вот и Истомину не хотелось, хотя только вчера он не мог дожидаться этого дня, не мог дожидаться, когда выйдет на работу. Но вот он лежит в постели с открытыми глазами, слушает, как тикают стрелки часов и дышит жена, и не может заставить себя встать. Он думает о том, что длинные выходные закончились и теперь это: раннее утро, будильник, спящая под боком жена снова будут продолжаться до бесконечности. Еще один день, триста шестьдесят дней или сколько там их будет с учетом выходных? Каждое утро, а затем — из года в год.

Вставать не хочется, а надо, поэтому Истомин встает. Через «не хочу» идет в ванную и смотрит на себя в зеркало, в очередной раз не узнавая усталого мужчину, который там показывается. Но что толку ныть и жалеть себя — лучше-то жизнь от этого не становится. И Истомин просто стал делать то, что требуется: чистить зубы, умываться, кипятить чайник и заливать растворимый кофе с тремя ложками сахара горячей водой. Горькая коричневая жидкость не бодрила, как должна бы, но он пил ее по привычке, не ощущая — снова по привычке — этого горьковатого привкуса.

Не включая нигде света, он оделся. Взял из холодильника пакет с едой, который накануне приготовила ему жена, и вышел из квартиры. Звук едущего лифта отозвался чересчур громко в тишине этого утра, и Истомин даже вздрогнул от неожиданности.

На улице было темно и холодно, только ветер гулял промеж дворов с бешеной скоростью. Двор казался пустынным, да и кто бы мог оказаться здесь в этот час? В одном из окон соседнего дома горел свет. «Кто-то тоже на работу собирается», — подумал Истомин и ошибся, ведь если бы он мог заглянуть туда, то увидел бы, что на самом деле «тот» еще не ложился и только сейчас в пижаму переодевается.

На остановке он тоже стоял один, и было странно представлять себе, что всего через час это место изменится до неузнаваемости, заполнившись толпой сонных, вечно недовольных людей, которые спешат на работу и мечтают занять в автобусе сидячие места, отталкивают друг друга, ругаются и не извиняются, если вдруг наступили на ногу.

Развозка опоздала, Истомин успел замерзнуть. Он скользнул на сиденье возле окна и огляделся. Кто-то дремал, свесив на грудь голову, кто-то смотрел перед собой, но таким остекленевшим взглядом, что сразу ясно: этот человек тоже сейчас спит, а один парень запрокинул голову, и из его открытого рта доносился длинный свистящий звук. «Эй, парень», — кто-то постучал его по плечу; остальные были молчаливы.

Эти мужчины — печальные, помятые и как будто равнодушные. Их печаль не бросалась в глаза в первую очередь: они хорошо ее скрывали, и прежде всего от самих себя. Они были не из тех, кто любит копаться в себе, да и не видели в этом необходимости. Они жили по простым законам и правилам: жизнь — это череда повторяющихся действий. Работа-еда-дом-сон. И эти действия являлись для них залогом стабильности, а все, что эту стабильность нарушало, тотчас же закапывалось поглубже и забывалось.

По пустынным предутренним улицам развозка ехала быстро. Истомин пялился в окно: казалось, будто кто-то убирает темные лоскутки с разноцветного одеяла, и вот — взгляду открывается город, его улицы и голые деревья. Он ездил этой дорогой на работу вот уже столько лет! Все, что видел он в окно, было привычным и родным. Если же что-то и менялось: рекламный плакат, вывеска над магазином или построенный новый дом вместо пустыря — к этому он привыкал так же быстро и забывал, что здесь когда-то было что-то не так.

8.

В обед Истомин навестил Михалыча. В бытовке было жарко, пахло едой: завхоз только что пообедал и теперь лежал на кровати. Он брал кружку, стоявшую рядом на тумбочке, и делал глоток. Чайная ложка стучала его по носу, он морщился, но из кружки ее не вынимал.

Когда Истомин вошел, Михалыч приподнялся на кровати.

— Кофе сам сделаешь? Спину тянет, сил нет.

Истомин кивнул и щелкнул выключателем на чайнике. Михалыч поудобнее уселся на кровати, взял с тумбочки кружку и обхватил ее обеими руками.

— Ну что, как праздники? — спросил он.

— Да как обычно, — отмахнулся Истомин.

— Много водки, много селедки, много шума из ничего?..

— Примерно так, — усмехнулся Истомин, — а ты давно здесь?

— Почти с самого нового года. Не могу дома сидеть, — Михалыч передернул плечами. — Осточертело.

— Какие здесь новости? — Истомин подвинул стул и сел напротив Михалыча.

— Если ты о посланиях «сверху», — Михалыч воздел палец к потолку, — то пока ничего. Они свои отчеты, ну по досмотру нашему, не раньше конца января проинспектируют. Снова прибегут, начнут кричать, что надо повышать показатели, чтобы в этом году сдать, вот просто кровь из носу, обязательно. Ну а там уже весна начнется, придет новая партия таджиков, считай, работа пойдет быстрее, и скажут: а вы и так неплохо справляетесь, не надо вам никакого нового оборудования. У вас и так все нормально получается.

Михалыч отпил кофе и поморщился — тот уже остыл.

— Кстати, о таджиках. Вчера этот, молодой, Саид твой, повздорил о чем-то с Фатеевым. А может, это Фатеев с ним повздорил, кто их разберет.

Истомин уставился на Михалыча.

— А что случилось-то?

— Не знаю. Я свечку им не держал. Говорят, на кухне дело было, они там оба что-то готовили. И не поделили, наверное, сковородку или лопаточку, а может, так просто...

слово за слово. Знаешь же, как это иногда случается. А сегодня утром я его встретил — Саида. Он шел в магазин за продуктами. Идет, бедолага, с рукой забинтованной. Я его спрашиваю, что, мол, случилось-то, а он говорит: маслом горячим ошпарился. Я ничего не знал еще к тому времени, поэтому и не стал больше расспрашивать.

— А кому-нибудь доложил? Из начальства, я имею в виду?

— Да ты что! Меня на смех поднимут же. Как будто есть им дело до нас и наших разборок. Скажут, чтобы мы сами свои проблемы решали и их не вмешивали. Пока не случится ничего серьезного, никто не пошевелится.

— Ну хотя бы Никандрову сказать-то надо. Между делом так. А то потом еще сам крайним останешься.

Михалыч задумался.

— Да, Никандрову сказать, наверное, надо. Может, он Саида на другой участок переведет? Или еще что-нибудь придумает? Так-то он соображает, Никандров наш.

Но как только Истомин ушел, Михалыч тут же позабыл о своем решении. Вместо этого он принял еще одну таблетку болеутоляющего. Он знал, что это слишком много — вторая таблетка за сколько? за полчаса? — но ничего не мог с собой поделаться: спину тянуло так, что самому было уже не справиться.

Если бы Михалыч вовремя рассказал Никандрову о конфликте между Саидом и Фатеевым, то, возможно, ничего и не случилось бы. Но все мы живем в мире возможностей, о которых остается только сожалеть. Какими бы горькими они ни были, они ничего не вернут, не исправят, даже если останутся с нами навсегда. Сколько ни говори себе: а вот если бы тогда, а если бы это — ничего не изменится. Это «если бы» так и останется аморфным призраком. Всю жизнь потом Михалыч сожалел, что счел ситуацию несерьезной, не заслуживающей внимания, и до самого конца его преследовало это «если бы».

Истомин не стал ни о чем спрашивать таджичонка — не в его это было характере. Однако слухи продолжали циркулировать: говорили, что недавно Фатеев запер мальчишку в туалете, и тот весь голос себе сорвал, крича, чтобы его выпустили. Но побродив по стройке какое-то время, история, казалось, на этом и закончилась.

Так было и в тот день. Саид работал рядом бок о бок с Истоминным и выглядел обычно: все такой же тощий и неприкаянный. Фатеев на него даже не взглянул, и Истомин решил, что конфликт давно исчерпан. День шел спокойно и размеренно, ничто не предвещало беды: про таджичонка и Фатеева все забыли. Как оказалось — зря.

После обеда Истомин поднялся на крышу и вдруг обнаружил здесь слишком много народу. Люди стояли стеной, образовав полукруг. С трудом протиснувшись между ними, он увидел наконец, что происходит.

Саид и Фатеев. Друг напротив друга: напряженные, собранные, каждый мускул как камень, руки готовы в любую секунду сжаться в кулаки. Потом когда Истомин мыслями возвращался к этим событиям, он удивлялся в настоящем времени: почему никто не подойдет ближе и не разнимет их? Кто-то внутри, кто-то, ответственный за совесть, спрашивал: а почему, почему это был не ты?

Наверное, тогда казалось, что ничего плохого не случится, что сейчас они одумаются, отойдут от края крыши, и можно будет подбежать к ним, схватить за руки и выкручивать их до тех пор, пока оба не успокоятся. Но тут Фатеев повернул голову и улыбнулся, увидев, какая образовалась толпа: о, сколько здесь зрителей! И сказал что-то таджичонку. Сказал очень тихо, так, что никто в этой толпе не услышал его.

Позже Истомин мог ясно представить себе тот момент: вот они стоят, друг напротив друга, такие разные, один — худой и слабый, другой — крепкий и сильный. И Фа-

теев говорит что-то мальчику. Истомин видит его рот, искривившийся в улыбке, видит, как он произносит несколько слов, видит лицо Саида, такое простое и наивное, к которому он так привык за столько времени, и вдруг лицо это искажается до неузнаваемости. И таджичонок со всей своей безмерной яростью бросается на противника. Его обидчик не успевает вовремя сориентироваться. Он как будто даже усмехается этой жалкой попытке и заносит руку, но таджичонок — проворный и легковесный — ускользает от удара и снова бросается на Фатеева. Вдруг кто-то кричит, кто — неизвестно, и почему-то это не он, не Истомин. Он по-прежнему стоит в стороне, смотрит на дерущихся и как будто не хочет вмешиваться. Таджичонок толкает Фатеева, вроде бы не сильно, но Фатеев запинаясь, теряет равновесие и падает вниз.

Смена закончилась раньше обычного. Ждали «скорую», потом начальство. Саида забрали в полицию. Только один раз Истомин случайно встретился с ним взглядом, но тут же отвел глаза. Таджичонок смотрел прямо, ища что-то в лице «начальника», но Истомин отвернулся и сам не мог объяснить себе почему. Он как будто видел себя со стороны, как будто смотрел кино по телевизору и не хотел верить, что все это происходит на самом деле. Почему-то вспомнился канун Нового года, шаурмянная и это: «...желаю, начальника, большого счастья и удачи в новом году, пусть у тебя все сложится!»

Стемнело. На стройке загорелись прожектора, в окнах соседних домов свет. Прозрачные тени садились ужинать, включали телевизоры. Но сегодня Истомину не было интереса до того, что происходит за этими окнами. Настроение, как и у всех, — препаршивое. Фатеева увезли в больницу, и данных о его состоянии пока не было: да и боялись спрашивать. И про Сайджана тоже.

Истомина мучило чувство неопределенного беспокойства, мучила совесть, было неприятно внутри, почти физически. Хотелось блевануть, выплевывать все это, все эти чувства наружу, но — не получается. Он смотрел в окно развозки на вечерний город, как делал бы обычно, но в этот раз не видел ничего, кроме Саида и Фатеева. И думал только об одном: что же сказал мальчишке Фатеев? Чем разозлил его? В глубине души Истомин понимал, что, наверное, никогда не узнает правды, знают ее только Саид и распластавшееся тело Фатеева. Врачи сказали: в рубашке родился. Но что они могли знать наверняка?

Остановились на светофоре возле торгового комплекса. Название его по-прежнему светилось неонами, завлекая посетителей. Но одной буквы, буквы О, сегодня не было — погасла раньше времени. Магазины еще работали, и Истомин только поэтому вспомнил, что возвращаются они раньше обычного. Возле входа в торговый комплекс сутились люди и машины, ища место, куда бы втиснуться. Огромные афиши кинотеатра теперь были другие, другие названия фильмов, по-прежнему незнакомые ему, Истомину. «Надо бы спросить Сонечку, что за фильмы сейчас показывают. О чем они, про что?» — подумал Истомин, прекрасно зная, что не спросит. На билборде, что стоял за светофором, теперь висел красный и сочный томат с зеленой веточкой: реклама универсама спешила сообщить, что помидоры у них нынче со скидкой, по самой низкой цене в городе.

По пути домой Истомин зашел в магазин и купил четверку: хотелось заглушить голос мучившей его совести. Дома еще никто не спал. Жена жарила картошку и смотрела телевизор. Картошка, обильно политая маслом, трещала и шкворчала на сковородке, заглушая тихий звук телевизора. Она высунулась в коридор, услышав, что хлопнула дверь, и удивленно спросила:

— Ты чего это?

— Да у нас там... случилось кое-что. ЧП. Отпустили пораньше.

— Что за ЧП?

— Сейчас расскажу. Дай раздеться-то.

Истомин вымыл руки, прошел на кухню. Жена резала колбасу.

— Кушать будешь?

Как это вообще возможно? Кусок не полезет ему в горло, только не сегодня, не сейчас... Но и пить на голодный желудок тоже вредно.

— Немного, — ответил он.

Жена поставила перед ним тарелку с жареной картошкой и рядом — тарелку с нарезанной колбасой. Он разлил по стопкам водку.

— Мне хватит, — жена прикрыла свою стопку рукой.

Истомин выдохнул, одним махом залил в себя водку и зажмурился. Закусил немного и посмотрел в окно, но там за ним ничего не было, только темнота этого вечера.

9.

Истомин ворочался на влажных простынях, откинув на пол пододеяльник, открывал и закрывал форточку, однако от нее не было никакого толку. Тут помог бы кондиционер, но на стройку не могли закупить даже вентиляторы: их в продаже нигде не было. Жена дала ему с собой опрыскиватель, из которого он время от времени обливался водой, но сейчас тот валялся без дела: вода в нем давно нагрелась. Какой смысл пользоваться? Только простынка и наволочка еще больше вымокнут, а он не получит ни удовольствия, ни облегчения.

Лето выдалось аномально жарким. Работать было тяжело, тяжелее даже, чем в морозы, — и строительство шло вяло, нехотя. В прежние годы Истомин переносил жару стойко и, хотя не особенно ее любил, мог как-то с этим справиться. Но теперь сказывался возраст: ему не восемнадцать все-таки. Иногда он чувствовал, как сердце в грудной клетке подсакивает и в глазах туманится. Но эти приступы быстро проходили, и он не задумывался, что они могут быть опасны, что он может, например, потерять сознание и свалиться с высоты.

В выходные Истомин ездил на дачу, хотя работать там никаких сил не было. Даже лес — совсем рядышком — от жары не спасал. Ходили купаться на запруду, которую устроили местные жители. Вода была теплой, но тех, кто хотел окунуться, слишком много, поэтому только барахтались в кипяченой воде, словно вермишелины: и вылезать не хочется, и в таком большом соседстве тошно, никакого удовольствия. И на пруд Истомин ходил редко, чаще просто окатываясь холодной водой из шланга. Вода, добытая из самых недр, была жгуче-холодной, и неподготовленная кожа тут же покрывалась мурашками — в один миг простудишься. Сидя под навесом беседки, когда и в тени-то градусник показывал плюс тридцать пять, пили холодный квас, а жена и дети удивлялись: как же вы там на такой жаре еще и работаете.

Истомин отшучивался, преуменьшал тяжелые условия: если рассказать все, как есть, жена опять начнет ругаться: «Да на кой тебе сдалась эта стройка несчастная! сколько уже можно ждать, когда она закончится!» Поначалу она часто его об этом спрашивала, все канючила: «Ну когда же, когда?» Как будто мог он вот так запросто ответить ей: «Завтра». Однажды Истомин не выдержал, прикрикнул: «Все, достала ты меня уже! Когда построим, тогда и построим, тебе-то что!» После этого о работе она больше с ним не заговаривала — обиделась.

И Истомин молчал, как трудно ему на самом деле приходится. Иначе, может, рассказал бы о своих приступах. Или о том, как Колю Добрука увезли на «скорой» пря-

мо со стройплощадки — упал в обморок. Начальство с тех пор немного образумилось, и смены поделили так, чтобы работать только утром и вечером. Но толку-то? День выпадал полностью, и все так же жарились в теньке или своих вагончиках. Даже поспать не получалось как следует: было душно, тело мгновенно становилось липким от пота. Все, что оставалось, — это ждать, когда придут чертовы вентиляторы.

В дверь постучали. Встать с кровати никакой охоты не было. Не хотелось ни вставать, ни говорить, ни двигать руками-ногами, но Истомин все же поднялся.

На пороге стоял Никандров. Прораб выглядел худым и осунувшимся: жару он переносил плохо, — его цаплиная фигура стала еще больше скрюченной.

— Можно тебя? — спросил Никандров.

— Что, на улицу? — Истомин зажмурился.

— Да. Перекурим?

Истомин накинул легкую клетчатую рубашку и вышел из вагончика. Яркий солнечный свет ударил в глаза, тут же отреагировало и тело. Духота как будто сжала его в тиски, перед глазами замелькали черные точки.

— Как жарко, — Никандров провел рукой по лицу.

Истомин пробормотал в ответ что-то необязательное.

— Я чего хотел-то... — начал Никандров и замолчал, собираясь с мыслями, — есть одна фирма, строительная... Строят жилые дома, многоэтажки. «Яблоневый посад», может, знаешь? Застройщики серьезные, все дела.

— Ну.

— Они набирают сейчас сотрудников. В офисы. На стройке у них все больше таджики да узбеки горбатятся — этого добра хватает. А им нужны грамотные снабженцы, менеджеры. Платят хорошо, если требуется — обучают дополнительно. Стабильная зарплата, медстраховка — короче, все условия. Тут чего ждать? У моря погоды? Неизвестно, когда эта стройка закончится и что будет после нее. А там дом за домом строится. Они меня давно уговаривают к ним перейти, им такие профессионалы как раз и требуются: те, кто здесь от звонка до звонка отработали. Ну, я и согласился наконец. Ухожу отсюда с понедельника... Я вот что подумал-то... может, ты тоже заинтересуешься? Один из лучших работников, все умеешь, все получается. Остальному научим. Будешь сидеть в офисе, в нормальном режиме рабочего времени. Как тебе?

Истомин почувствовал, как по щеке медленно ползет капля пота. Не вытерпел — смахнул ее.

— А в чем разница-то? — спросил он наконец.

— В зарплате разница. Уже неплохо, да? Должность опять-таки. Объект государственной важности — это, конечно, замечательно, но... блин, надо же куда-то дальше двигаться. Мне надоело здесь торчать: без конца кормят завтраками. Ты не хуже меня знаешь, что нам только лапшу на уши вешают.

— А в этих ты ни разу не сомневаешься?

— Думаешь, я бы уходил, если бы сомневался? Если бы не обдумал все как следует? Истомин вздохнул, достал еще сигарету.

— Мне тоже нужно время. Я подумаю.

Никандров кивнул.

— Да, время есть еще. Подумай, с женой посоветуйся.

Никандров затушил сигарету.

— Ну, я пошел тогда. Созвонимся?

Истомин кивнул и затянулся сигаретой. Никандров ушел, а Сашка так и остался стоять, глядя ему вслед.

К вечеру стало терпимее. Духота все еще висела в воздухе, но дышалось уже легче, свободнее. Истомин собрал все контейнеры и рабочую одежду в сумку и пошел на развозку. На улице было светло, народу много, ходят туда-сюда, потягивают пиво из горлышка — никакого ощущения вечера.

Развозка неслась по привычной, изрытой ямами и колдобинами дороге. Перед муниципальными выборами ее немного залатали — какой-то депутат, баллотирующийся от этого района, — но залатали плохо и, сразу видно, без особого усердия. Да что эти депутаты! Истомин никому из политиков не верил, ни единому этому лицу, лощеному, холеному, улыбающемуся с предвыборных плакатов. И на выборы он тоже не ходил: все равно всех, кого надо, и без него выберут.

Снова остановились на красном светофоре, перед торгово-развлекательным комплексом. Вот полюбуйте: сегодня на привычном билборде — физиономия одного из депутатов, отъевшаяся, отфотошопленная и отретушированная. Его предвыборные слоганы Истомина ни капли не тронули. Он отвернулся от окна.

Жене Сашка ничего не сказал про предложение Никандрова, хотя она еще не спала и принялась разогревать ему ужин. Есть, правда, не очень-то хотелось, только пить. Истомин украдкой хлебал квас прямо из трехлитровой банки, пока никто из домашних не увидел и не принялся кричать, чтоб не пил из общего.

Истомин включил телевизор, подвинул табуретку к раскрытому окну и принялся щелкать кнопками, по привычке переключая каналы.

— Опять всю ночь будешь слоняться? — спросила перед сном жена.

Она стояла в дверях кухни, одетая в ночную сорочку из ивановского ситца. Но, как знал Истомин, это ненадолго: вскоре она ее снимет, не выдержав в такой жаре и духоте, и сорочка, словно сдувшееся привидение, будет валяться на полу возле кровати.

— Не знаю, — он пожал плечами.

— Поставь тогда квас в холодильник. Вон он, на подоконнике. Часа в три, но можно и раньше, если раньше спать отправишься.

И жена ушла смотреть телевизор в комнату. Скоро она его выключила и заснула, Истомин все еще сидел на кухне. Вадим был в лагере, Сонечка гуляла где-то с подружками. Истомин слушал звуки лифта — не едет ли? Он вроде бы собирался подумать над предложением Никандрова, но вместо этого думал о Сонечке: где она сейчас, скоро ли будет дома.

Еле слышный хлопок двери прозвучал в половине четвертого. Сонечка долго возилась в коридоре, потом заглянула на кухню. Сильно не удивилась, что отец не спит: с раннего детства она привыкла к этому. Отцовские ночные посиделки казались ей даже романтичными. Она помнила, как вставала посреди ночи, когда была маленькая, чтобы сходить в туалет или попить воды, шла на кухню и видела там отца за кухонным столом, который без конца щелкал пультом от телевизора... В детстве ей всегда казалось, что в это время там показывают что-то необычное, — ну а как иначе? Что еще заставляло бы папу сидеть в одиночестве в самое темное время? Но когда Сонечка стала старше и смогла смотреть телевизор в любое время суток, она поняла, что ничего особенного в этом нет. Но к тому времени она уже знала и что такое бессонница.

Сонечка налила из графина воды и села напротив отца. Он не стал ее спрашивать о том, где она была и как провела время. Он давно уже понял, что дочка его выросла, она больше не маленькая Сонечка, которая садилась рядом на диван и прижималась к его руке. У нее — своя жизнь, свои заботы и проблемы, которые Истомину неведомы.

Сонечка сидела на стуле, подвернув под себя ногу, и смотрела в телевизор вместе с ним, и Истомин вдруг почувствовал прилив нежности. Но не знал как, не умел его выразить.

— Что за фильм? — спросила она.

Пожал плечами.

— Я не видел названия.

От Сонечки пахло сигаретами, и Истомин не знал, принесла она запах прокуренного помещения с собой или сама покуривает. Спросить не решился. Сделал вид, что не заметил ничего. Теперь-то уж чего, теперь поздно воспитывать и проявлять свое родительское внимание. Сонечка допила воду и пошла спать, кружку так и оставив на столе. Он тоже вскоре отправился в кровать. Завтра суббота, и жена собиралась на дачу — вставать всего через пару часов.

10.

Время летит стремительно: снова последний рабочий день в этом году... Но домой Истомин не спешит, хотя надо бы: жена ждет, когда он придет и поможет с приготовлениями. Встречать Новый год собрались дома, позвали гостей. Но Истомин все еще болтался на стройке: покурил с Михалычем, выпил кофе, сходил в забегаловку. Посетителей, кроме него, больше не было, и Лариса могла бы давно закрыть лавочку, но прогонять его не стала: налила пива и шаурму сделала.

— Мне сегодня торопиться некуда, — сказала Лариса, — поеду к сестре. Она все приготовит, мне только нарядиться останется.

Истомин взял со стойки пиво.

— А ты чего? — спросила она. — Чего домой не идешь?

Он вздохнул, глядя на медленно оседающую пену в пластиковом стаканчике. Как тут объяснить? Как рассказать, что ему все это нравится: замирать посреди суеты и ощущать, будто находишься в другом мире. Этот мир пустой, без людей, без новостей, без событий, без движения времени. Это как... как выходить на улицу рано утром первого января; или ехать в развозке на работу, пока все спят; или смотреть по ночам телевизор — программы, которые никто больше не смотрит. Это — изнанка жизни, где нет ни тревог, ни печали, ни суеты. Это время может приоткрыть какую-то тайну, смысл в жизни... только он пока не знает, какую и каким образом.

Дома жена и ее приятельницы, пока еще непарадные, ненакрашенные, в заляпанных фартуках, строгали салаты, жарили рыбу и курицу. На столе стояли початая бутылка шампанского и поднос с бутербродами.

«Сюда картошку как резать? Покрупнее или помельче?»

«...Не может ничего сделать сам. Рубашку ему погладь с утра пораньше. Говорю: придешь вечером и поглажу перед выходом».

«Мы тоже хотели туда сходить, но больно дорого. Да и подарок ведь еще покупать...»

«...А они всегда так говорят: это не наше дело, идите в вышестоящую инстанцию. Сами ничего сделать не могут, а потом...»

«Сказала, что будет с подружками. Но, уж конечно, туда и мальчики придут, я так думаю».

«...Раньше не достать было, а теперь все есть, только не купишь. Как жили бедно, так и будем жить, ничего не меняется».

«У него день рождения сегодня, оказывается. Но он обычно отмечает тридцатого, хотя говорят, что заранее...»

Истомин вошел в квартиру, наполненную суматохой и приготовлениями, и не успел опомниться, как жена вручила ему пылесос.

— Что же это, вас пораньше не могли сегодня отпустить?

Ответ она слушать не стала, поспешила обратно на кухню к подругам и приготовлениям.

Истомин переоделся в домашнее, умылся и принялся за работу. Тщательно пропылесосил в комнатах, вытер пыль, разобрал вещи, брошенные в углу, заставил Вадика прибраться в его комнате.

Когда Истомин закончил уборку, делать было больше нечего, и время от времени он заходил на кухню, где висел тяжелый запах пара, еды и работающей духовки. Было душно. Только откроют форточку, сразу врывается морозный воздух и — страшно замерзнуть, простудиться — закрывают ее обратно. Истомин бессмысленно топтался рядом, его просили иногда что-то сделать: почистить картошку или нарезать лук крупными кольцами. Но оказав посильную помощь и не найдя больше для себя занятия, да и места на тесной кухне, он окончательно ушел в комнату, к телевизору.

Не стукнуло еще и десяти, а они уже сидели за столом. Кто-то говорил, что рано, но уже все было готово, женщины нарядны и накрашены. Ждать не хотелось, лучше уж начать праздновать.

Сели, выпили. Вадик притащился из комнаты, положил себе оливье и налил компота в обычную кружку из-под чая. Выпивать при родителях он не решался: вот пробьет двенадцать, тогда и пойдет на улицу, к приятелям. Там у них будет водка, сок апельсиновый. Тоха обещал еще и джина притащить из какого-то родительского загашника.

— Вадик, Вадюша, колбаски возьми! И хлеба! Хлебушка! И вот этого еще положи себе салатика!

Вадик отверг все предложения, ограничившись только селедкой под шубой, которую обожал до невозможности.

Истомин ел, пил, смотрел краем глаза развлекательные передачи по телевизору и думал: сколько же людей точно так же сейчас сидят! Большая комната, которая на самом деле никакая не большая, всего десять квадратов, просто больше той, другой, поэтому так и называется. Стол стоит неустойчиво, ножки качаются. Подложили бумажку, вроде бы прочно, но вдруг в любой момент — ах, бумажка выпадет, стол покачнется, и салат в миске, что стоит на дальнем конце стола, упадет, разобьется. Нет, такие мисочки, толстостеклянные, надежные, не бьются — это Истомин знает точно. Он это помнит, потому что она у них уже падала. В этих салатниках все как полагается: оливье, селедочка, салат из кальмаров и — какое-то модное веяние — салат из курицы с ананасами. На тарелках жареная рыба и разнообразная нарезка — как полагается. Сырокопченая колбаса, сыр, оливки и что-то еще, вроде бы съедобное, только Истомин даже не знает, что это. На горячее, которое подадут позже, — мясо по-французски, в этот раз главное новогоднее блюдо на празднике. Истомин его не очень-то любит, но его никто не спрашивал.

Истомин вышел на кухню покурить. Было уже давно за полночь, в комнате устроили танцы: там стало громко, душно и слишком весело. На тарелках смешались оливье, селедка под шубой, жареная курица и даже этот дурацкий салат из ананасов, который мужчины так и не попробовали. Теперь ели лениво, без прежнего надрыва и спешки, зато пили вдвое больше прежнего, потому что хотелось, чтобы наконец дало в голову.

На кухне была открыта форточка: дышалось здесь легче и свободнее. Истомин закурил: не то чтобы очень хотелось, просто надо было чем-то занять руки и как-то объяснить свое отсутствие. Он стряхивал пепел прямо в ладонь: чуть-чуть насыпалось на торт, который охлаждался на подоконнике. Истомин выругался, но махнул рукой, все равно никто сегодня к этому торту не притронется. Как-то совсем не по-ночному было на улице: все время трещали петарды, которые бросали неугомонные мальчишки, соседи запускали фейерверки.

Заскрипела дверь, Истомин обернулся. На кухню зашла Маринка. Она была в голубой полупрозрачной блузке и черной юбке до колена, макияж давно размазался, глаза пьяно косили в сторону.

— Привет, — сказала она и взяла с подоконника его пачку сигарет, достала одну, — угостишь?

— Бери, — пожал плечами Истомин.

— А ты чего здесь один?

— Курю.

— Давно куришь. И все в одиночестве.

Истомин не ответил.

— Как, по-твоему, — спросила Маринка, опираясь одной рукой на подоконник, а второй обнимая себя за талию, — я выгляжу? Я красивая?

Истомин посмотрел на нее, затянулся, но снова ничего не сказал. Фильтр обжег ему пальцы, и он затушил сигарету. Чтобы чем-то занять руки, достал из пачки новую.

— А ты мне нравишься, — усмехнулась Маринка и пододвинулась поближе, — да ладно тебе. Думаешь, Витька на тебя обидится? Да ему все равно, понимаешь? Вот у вас с этим как? Впрочем, я и так знаю, что никак, зачем спрашиваю. Когда-нибудь...

Маринка стояла совсем близко, от нее приторно пахло духами, алкоголем и сигаретами. Глаза смотрели на Истомина пьяно и отчаянно, и ни страсти, ни симпатии он не испытывал — ничего, кроме жалости. Он попробовал отодвинуть Маринку, но она только сильнее прижалась к нему грудью, а потом полезла целоваться. Истомин даже опешил от такой наглости: он только почувствовал мокрые теплые губы на своих губах, мягкий язык, который проник ему в рот. Он удивленно посмотрел на Маринку, и она наконец оторвалась от него. Отодвинулась, нахмурилась. Взглянула на Истомина, сморщилась. Сказала: «Ой» — и, прижав руку к губам, бросилась в туалет. Истомин услышал, как ее тошнит.

11.

В конце января ударили морозы, и стройку пришлось закрыть. Истомин поначалу даже обрадовался, что в такую погоду не придется выходить из дома: как прекрасно было остаться в надежной теплоте батарей, не чувствуя пронизывающего холода рабочей площадки, хлипкости обогревателей и тяжести синей спецовки, надетой на три свитера разом.

Но недели шли за неделями, а стройка оставалась закрыта, и открывать ее обратно как будто не торопились. Официально ни о чем не объявляли, но было понятно: ничего хорошего ждать не приходится. Когда Истомин выбрался из дома в этакий-то мороз, именно это он и хотел выяснить, но уже по своим, неофициальным, каналам.

Усевшись на свободное место, Истомин протянул деньги кондуктору. Она отсчитала сдачу, отвернулась и гаркнула простуженным голосом:

— Проезд оплачиваем! Кто входил? Проезд оплачиваем у кондуктора!

В огромном дуте пуховике, из которого торчал воротник теплого шерстяного свитера, она сидела на специальном «месте кондуктора», возвышаясь над остальными пассажирами. Руки у нее были широкие, крупные, но удивительно ловкие, когда требовалось пересчитать выручку. С места она не вставала, и Истомину, который сидел прямо перед ней, приходилось передавать деньги в разные стороны.

Мерзли ноги, сильно мерзли пальцы, и все тело как будто съеживалось, скрючивалось, кривилось от холода. Окно было покрыто морозными витиеватыми узорами, и если бы не уставший гнусавый голос, объявлявший остановки, трудно было дога-

даться, где сейчас находишься. Истомин вынул руку из перчатки, поскреб пальцем по стеклу, снежинки упали ему на ладонь. Он еще больше съежился, надел перчатку обратно и втянул в плечи голову. Совсем отвык от общественного транспорта...

Михалыч жил в обычной панельной девятиэтажке. Что было странно: Истомин всегда представлял его в частном доме с собственным огородом. Казалось, Михалычу необходим простор: место, куда он может выйти в обед, сесть на ступеньку и затянуться сигаретой — так, как он делал это на стройке. Но эта мысль, этот образ совсем не вязались с этим местом, с этим серым безликим домом, который возник перед Истоминим.

— Кто там? — услышал Истомин в трубку домофона.

— Сто грамм! Открывай скорее. Замерз как черт.

Дверь запиликала, и Истомин вошел в подъезд.

Квартира Михалыча находилась на втором этаже и выходила окнами во двор: совсем никакого простора. Обычная «двушка» с небольшой кухней, где вовсю что-то то ли жарилось, то ли парилось: по крайней мере, был дымно.

Михалыч в тренировочных штанах с лампасами и фланелевой рубашке вышел ему навстречу. Завхоз постарел; казалось, Истомин заметил это только теперь, после того, как не видел его столько времени. А может, все дело в освещении этой странной, чужой квартиры? Он как будто впервые увидел седину в волосах Михалыча и морщины на его лице.

— Михалыч, — произнес Истомин вместо приветствия.

— Ну, проходи, проходи, — замахал рукой Михалыч, — выбрался-таки. Вот спасибо, навестил старика.

— Да какой же ты старик, — улыбнулся Истомин.

Михалыч повесил его куртку в шкаф и поманил за собой на кухню.

— Проходи, садись.

Истомин сел на стул и достал откуда-то из рукава палку колбасы. Михалыч замахал на него руками, мол, да что ты, что ты, не стоило.

— Неудобно с пустом-то, — пробормотал Истомин, отодвигая колбасу подальше от себя.

Михалыч кивнул, взял ее и широким туповатым ножом порезал крупными ломтями.

Фоном работал маленький телевизор: на экране мелькал семейный сериал, но звук был выключен. Михалыч поставил перед Истоминим дымящуюся чашку и открытый пакет курабье.

— Выпей чайку пока, а я тут с обедом закончу. Только вот перед твоим приходом чайник поставил, как чувствовал...

Михалыч принялся дальше суетиться по хозяйству.

— Ну как хоть ты, рассказывай? — спросил он, не оборачиваясь.

Истомин махнул рукой.

— Да я-то чего. Мне что рассказывать? Со дня на день жду, когда стройка заработает. Без дела сидеть — хуже не придумаешь. Да и бессонница совсем замучила.

Михалыч вытащил из холодильника бутылку водки и стал накрывать на стол. Показал жестом Истомину, что надо бы разлить по стопочке. Бутылка была холодная, на ощупь приятная. Сели друг напротив друга, подняли стопки, чокнулись, без всякого тоста, без лишних слов, громко выдохнули и выпили. Взяли по куску колбасы и сначала ей занюхали, потом закусили.

— Ну, что скажешь? — спросил Михалыч как-то неопределенно, толком и не понять, про что он: про еду или про водку.

— Хороша! — ответил Истомин.

Михалыч довольно улыбнулся. Картошка, которую он подал к столу, была немного сыровата: поторопился снять с плиты, — зато котлеты из лосятины оказались то

что надо! Ели сосредоточенно, работали челюстями часто и смачно: не приучили их наслаждаться и смаковать каждый кусочек, поэтому и жевали так, будто кусок этот у них последний. После еды разморило: откинулись, вытянули ноги и разлили еще по стопочке.

— Слышь, Михалыч... А ты... что-нибудь слышал вообще? — спросил его Истомин. Михалыч замешкался.

— Не знаю, — он почесал затылок, — не знаю, как и сказать-то. Ладно, есть кое-какие новости. Не новости, но так, слухи. Слушки, если так можно выразиться. Ты не чужой человек все-таки, поэтому я тебе скажу, но только никому! Хорошо? Только тебе и скажу, потому что ты, как никто другой, знать заслуживаешь.

Истомин замер, тело его напряглось, стало холодное и плотное. Он ждал продолжения, но Михалыч все тянул, никак не мог подступить к этому.

— В общем... Ты только без паники, может, все еще и образуется...

— Да говори уже, Михалыч. Не томи.

— Ходят слухи, что стройку нашу скоро того... ну, заморозят окончательно. Это не точно еще, только слухи, бабка надвое сказала...

— В каком смысле — заморозят?

— Видел недостроенный торговый центр, который по дороге к твоему дому? Если поворачивать с проспекта?

— Ну.

— Что «ну». Вот и наш огромный и прекрасный объект национальной важности скоро будет стоять такой же, заброшенный и никому не нужный.

— Но как так? Это же государственный объект! Государственное финансирование! Разве может оно быть... вот так просто и быстро прикрыто? Сколько денег вбухано!

— Проворовались наши чиновники. Говорят, один из тех, кто начинал это все, давно в Майами живет. Это в Америке, знаешь, да? Так вот сколько он здесь наворовал?.. На этой самой стройке, раз смог там свой бизнес открыть? И жена с детьми туда же переехали.

— И что дальше? Что со стройкой? Что будет, если все-таки... ну, это, закроют нас? Михалыч пожал плечами.

— Не закроют, а заморозят. То есть временно. Пока деньги не появятся. А когда они появятся, кто их знает. Может быть, и обойдется все. Зависит от того, насколько объект важен для государства, для правительства.

Истомин вышел от Михалыча поздно, стемнело. Из рта шел пар, и он носом вдыхал запах водки, той последней стопки, которую опрокинул перед выходом. Михалыч правильно сделал, что приберег ее напоследок; теперь в теле чувствовались приятная истома и теплота, а грусти, как вроде бы полагалось, почему-то совсем не было. Какое-то новое чувство, чувство, что скоро все закончится, вдруг захлестнуло Истомина, и он даже обрадовался. Однако чувство оказалось обманчивым: ничего так быстро, как он думал, не закончилось. А закончилось все совсем не так и в другое — положенное этому — время.

12.

С наступлением апреля стало тепло и хорошо: весеннее всамделишное солнце не давало забыть, что скоро лето. Зеленели почки на деревьях, из земли пробивались желтые пятна мать-и-мачехи: скоро природа расцветет во всем своем великолепии, и измученные зимними холодами белые бледные тела наконец отдохнут от долгой, бесконечно долгой зимы.

В парке в это время гуляли только мамы с детьми да старики. И еще он, Истомин. Он тоже чувствовал себя старым и никому не нужным, но все равно выходил гулять. Правда: сколько ему? Пятьдесят? В его мире — это уже старость. Ничего не хочется. Полжизни прожито. И как? Куда подевалось, утекло время? Про что он может сказать: «Это сделал я, Александр Истомин»? Была только стройка, только объект национальной важности, которому он отдал без остатка всю свою жизнь. Где же она, эта жизнь, теперь? В чем? В посеревших от времени кирпичах, пустых пролетах окон и закорючках на бумаге, обозначающих генплан самого важного — как когда-то казалось — строительства.

На кухне было тепло и уютно, ароматно пахло щами и «Бородинским» хлебом. Сонечка с матерью ели суп и смотрели телевизор. В окно ярко светило солнце, было даже жарко — открыли форточку. Телевизор бубнил рекламой и сериалами. Сонечка автоматически переключала каналы, пока мать не попросила ее прекратить и остановиться на чем-нибудь одном. Сонечка оставила «Новости города», хотя, вообще-то, новости она не любила и никогда не смотрела, но в этих, местных, иногда мелькали знакомые места или люди, и ей нравилось это узнавание.

Сначала прошел сюжет о недавнем митинге, затем — скучный репортаж с очередного заседания муниципалитета, и вдруг показали его, отцовский объект национальной важности. Мать и дочь замерли над тарелками. В новостях объявили, что строительство, которое ведется вот уже столько лет, на время будет заморожено. И еще что-то про махинации, про нецелевые траты бюджета и проворовавшихся чиновников. Мать с дочерью не поспевали за информацией и наперебой переспрашивали друг друга: «Что, что он такое сейчас сказал?» — «Да тише, подожди ты!» Новость, однако, скоро закончилась, сменившись подведением итогов театрального фестиваля местного значения.

— Мама, — сказала Сонечка и отложила ложку.

Но вместо ответа мать вдруг вскочила и принялась мыть посуду. Тогда Сонечка снова повторила:

— Мама.

— Да? Что?

— Что, что здесь показали-то, мам?

Но мать снова ничего не ответила, словно и не слышала. И тут же заскрипел замок, зашелестели за дверью ключи, мать с дочерью переглянулись.

— Отец, наверное, — сказала мать шепотом, хотя и так было понятно, кто это.

Он вошел в квартиру, спокойный и уверенный. Увидев обращенные на него взгляды, удивился.

— Я в магазин сходил, — сказал он.

— Суп будешь? — как ни в чем не бывало спросила жена, и Истомин кивнул.

— Мам, но что же это... — начала Сонечка, но замолчала. Она отщипнула кусок черного хлеба и принялась медленно его жевать, глядя куда-то в сторону...

Сонечка проснулась среди ночи и прислушалась. Что-то ее разбудило, какой-то звук. Она напряглась. Вот оно снова. В другом конце комнаты, отгороженном шкафом, размеренно похрапывал Вадик. Нет, это не то: к этому звуку она давно привыкла и перестала его замечать.

Сонечка вздохнула: приснилось, кажется. Ничего не слышно.

Но вот же опять.

Она села на кровати: все-таки не показалось. Откинула одеяло и спустила ноги на пол. В комнате было прохладно: они открывали форточку на ночь. Она поискала на

ощупь тапки, не нашла. Звуки повторились снова, и она уже отчетливо слышала, как кто-то возится на кухне. А кто это может быть, кроме отца? Опять полуночничает. Пошла без тапок, босиком. По пути взяла телефон с прикроватного столика и посмотрела на время: половина шестого. Ей вставать скоро: как же не хочется! Она подумала было вернуться в кровать, но раз уж проснулась, сходит в туалет, а заодно и на кухню — воды попить.

Отец стоял возле окна и смотрел куда-то вниз, на улицу. Он был в брюках и джемпере, как будто куда-то собирался. А может быть, он только пришел? Нет, глупость какая-то. Отец отхлебнул из кружки и поднял руку к лицу: в ней он держал бутерброд. Но так и не откусил, рука его замерла: он вдруг услышал Сонечку, повернулся к ней.

— Пап, ты чего это? — спросила она.

От неожиданности — слишком громко: в тишине и темноте их квартиры ее голос прозвучал оглушительно. Она и сама испугалась: сердце заколотилось в груди, и она застыла, стараясь унять дрожь.

— Т-ш-ш-ш-ш-ш-ш! — отец приложил палец к губам и усмехнулся. — Всех разбудишь.

— Пап, ты куда это собираешься?

— На работу, — прошептал он.

— Но стройку закрыли же.

— Чего?

— В новостях показывали.

Отец пожал плечами, и Сонечка вдруг подумала, что это все ей приснилось: новости, закрытая стройка. Все было сном.

— Но, — пробормотала она, — мы же с мамой по телевизору видели... И тебе Михалыч звонил вчера вечером. Ты сам сказал, что он сказал: «Стройка закрыта, расходимся». Он что, пьяный был?

Отец ничего не ответил, только откусил бутерброд и смачно хлебнул кофе из кружки.

Нет, конечно, все это был не сон. Как она могла вообразить себе такое, пусть даже на секунду? Нет, это папа, это с ним что-то не так!

— П-п-подожди минутку. Подожди здесь, — пробормотала она и понеслась в комнату к матери.

Здесь тоже было темно и прохладно. Она остановилась в дверях и подумала: а стоит ли беспокоиться? Как бы хотелось лечь сейчас обратно в постель, такую прохладную и мягкую, завернуться в одеяло и доспать эти жалкие минуты, которые ей остались. Она так мало спит! Она заслужила немного отдыха. Каждая минута, когда сна нет, кажется ей потраченной зря. Как бы хотелось сейчас спать... А может, просто лечь и как будто ничего и не было? Может быть, ей все это всего лишь снится? Но вот она уже легонько трогает мать за плечо: «Мама, мамочка, проснись».

— Что случилось?

— Папа... Он там... на работу собирается.

И вот они уже стоят в дверях кухни и смотрят на Истомина. За их спинами маячит бледное лицо Вадика. Сонные, в ночных пижамах и сорочках или вообще, как Вадик, в одних только семейниках. Зачем они здесь собрались? Что они делают на кухне в такой час? Может быть, с ним что-то не так? С его одеждой или лицом? Нет, все в порядке. Кажется, все на месте: и лицо, и руки, да только вот...

— Вы чего? Чего это вы тут делаете?

— Саш, ты куда собрался-то? — спросила жена.

— Как это куда? Ты чего? Мне на работу сегодня.

- Но стройку ведь закрыли.
- Что? Ты о чем? Что ты такое говоришь?

В предзакатных сумерках, в темной маленькой кухоньке все казалось призрачным: уже и не поймешь, кто тут больше сошел с ума? Они вдвоем или этот мужчина, у которого на лице написано такое искреннее недоумение, что возникают вполне закономерные сомнения... А действительно, может быть, это они, они сами чего-нибудь не так поняли, что-то напутали?

Так и молчали: больше сказать было нечего. Только неуклюже и как-то бессмысленно продолжали толпиться вокруг него в коридоре. Хотелось протянуть руку и дотронуться до его спины, пока он завязывает шнурки на ботинках, чтобы понять: а реально ли это или все сон? Но никто не решался, никто его трогал: они в этой семье не привыкли к такого рода прикосновениям.

— Пап, а может, ты все-таки позвонишь кому-нибудь? Ну, коллегам своим, Михалычу? Уточнишь насчет работы?

Но в ответ он только улыбается.

Надел легкую куртку, ботинки и уже собрался выходить, как вдруг повернулся, и спросил со вздохом:

- А обед-то мой где? Что-то я не нашел в холодильнике.
- Я не готовила, я же думала, что... Подожди немного, сейчас нарежу бутербродиков!
- Да не надо. Мне пора, я и так уже опаздываю. Куплю чего-нибудь у нас в забегаловке или сбегая в магазин за пельменями. Деньги есть вроде бы... — Он похлопал себя по карманам и улыбнулся. — Ну, чего столпились? Спать идите, рано еще.

Больше он ничего не сказал, повернул замок, нажал ручку двери и вышел из дома.

13.

Истомин проработал на стройке много лет, но никогда не видел ворота главного входа закрытыми; он даже не знал, что они существуют... А может быть, действительно, ворота поставили здесь только сейчас?

Не очень высокие, из профнастила, с замком посередине, они казались несерьезными, как будто ненастоящими. Истомин даже попробовал толкнуть их, но замок был врезан здесь не для красоты.

Он немного потоптался на месте, как будто ожидая, что вот-вот появится кто-то и все отменит. Но никого не было: даже посторонние ходили здесь редко. От жилых домов до остановки вела другая дорога.

Истомин закурил. Выдыхая сигаретный дым, он запрокинул голову. Здание, та его часть, что уже была построена, возвышалось над всей округой: и было почти невозможно представить, что это он, Истомин, приложил к нему руку, что многое здесь — его заслуга. Вот эти стены с пылающими пустотами окон — это его секунды, минуты, часы, годы жизни, это его седые волосы и морщины у глаз и рта, это его разговоры и выкуренные сигареты, это его простуды и намертво прилипший к лицу загар, это его огрубевшая кожа на руках и больная спина. Это здание — он сам. Только почему же он никогда не казался сам себе столь важным?

В кармане завибрировал телефон, но Истомин не стал брать трубку. Мелодия отыграла свое и выключилась.

Он не собирался вот так просто уходить: он знал, как попасть внутрь другим путем. И засунув руки в карманы, Истомин пошел вдоль забора. Потом вдруг остановился, огляделся и неловко закашлялся. Он столько раз проходил здесь раньше, когда надо было срезать путь, но сегодня не чувствовал себя так уверенно, как обычно. «Это моя стройка, я имею полное право здесь находиться!» — подумал он, резким движе-

ем потянул за слегка приподнятый угол профнастила, приподнял его и оказался на стройплощадке.

Стройка выглядела заброшенной, а ведь прошло... да всего ничего!

Он не мог сказать точно, что именно изменилось, что вызвало в нем такие ощущения. Может быть, одно только то, что он знал о ее судьбе? А может быть, эти дурацкие красно-белые оградительные ленты, которые были навешаны здесь кое-как и где попало? Ветер надувал их, натягивая со всей силы, как будто хотел порвать. Но ленты не сдавались и продолжали трепыхаться под его порывами. А может быть, все дело в том, что, кроме него, здесь нет ни одной живой души? Вот брошены чьи-то инструменты, вот перчатки... Вот кадка с кирпичами... Как будто строители всего лишь отошли на обед или отправились перекурить и вот-вот вернуться.

Ветер приподнял прижатый камнем целлофан и зашумел в нем. И откуда только он взялся? Еще пять минут назад его не было, ярко светило солнце, и казалось... что? Что все будет хорошо. Да, именно так он и думал.

Но вот солнце зашло за тучи, и что он видит?

Бесхозные инструменты, пустые бытовки...

Истомина охватила непереносимая тоска — тоска, в которой слились все предыдущие. Та, что охватывала его, когда он поздним вечером возвращался домой с работы и смотрел сквозь грязное пыльное окно развозки на вечерний город, на свет фонарей и свет фар проезжающих мимо машин. Та, что случалась с ним, когда играла какая-нибудь песня — ничего особенного — просто песня о давно ушедшей любви, не близкая и не знакомая ему, может быть, даже на языке, которого он не знал, но песня, которая отчего-то рвала ему душу. Та тоска, которой он тосковал ночами, пока все спали, а он без конца смотрел детективные сериалы, эротические каналы и хорошие безымянные фильмы, пил чай и подходил к холодильнику, чтобы достать чего-нибудь пожевать — просто так, от скуки. На него падал желтый свет от открытой двери, а он стоял перед ней без идей и желаний, а по телевизору в это время ловили грабителей или занимались сексом, а он невнятно, непонятно тосковал. Или же бывало с ним так, когда он мыл посуду после ужина. Механические действия: тарелка за тарелкой, пена, губка, щетка, вилки, ложки, стаканы, а в соседней комнате жена кричит на детей или разговаривает по телефону. Повторяя одни и те же действия, которые вдруг оставляли его один на один со своими мыслями, а голос жены звучал лишь фоном, Истомуна хотелось плакать над тарелкой с узорами из клубники. Все это сейчас слилось в нем в одну непереносимую вселенскую тоску, от которой подкосились ноги. Он прислонился к недостроенной стене и впервые почувствовал, как глаза слезятся от ветра.

Истомин не знал, как ему следует со всем этим попрощаться, поэтому он просто пошел вокруг, сдирая красно-белую строительную ленту, когда она попадалась ему на пути. Он представил, что скоро это место станет пристанищем мародеров и малолетних хулиганов: первые растащат оставшиеся без присмотра инструменты и материалы, а вторые будут устраивать ночные посиделки с алкоголем и, возможно, наркотиками. По укромным углам будут гадить бездомные собаки, а под ногами появится столько мусора, сколько было здесь тогда, когда они только начинали стройку и готовились рыть котлован.

Он был уверен, что здесь никого нет, поэтому и мог позволить себе так беспрепятственно гулять по стройке. Он был здесь хозяином хотя бы и на пять минут. Но только он об этом подумал, как ему послышался чей-то окрик. Сначала решил: показалось. Он столько раз слышал здесь свое имя, оно столько раз звучало здесь самыми разными голосами, что теперь просто не могла не сработать «мышечная» память, ка-

кой-то механизм внутри него, ответственный за это ощущение. Но звук повторился, и тогда Истомин обернулся.

Возле хозбытовки, расставив ноги на ширину плеч, засунув руки в карманы, стоял Михалыч. Он был в своей обычной одежде, как будто и не уезжал домой: синие джинсы, коричневый заляпанный краской свитер и синяя фирменная жилетка сверху.

Михалыч стоял, не двигаясь, и Истомину ничего не оставалось, как подойти к нему.

— Так и знал, что ты придешь, — сказал Михалыч.

— А ты? — спросил Истомин. — Ты что здесь делаешь?

Михалыч пожал плечами.

— Как будто я могу уйти.

— Ты что, живешь здесь?

Михалыч кивнул.

— Но здесь же ничего нет. Ни воды, ни электричества. Как это вообще возможно?

— А разве есть какое-то другое место?

У Истомина вдруг разболелась голова, и он сжал лоб ладонью.

— Я просто подумал, — пробормотал он, — что это какая-то ошибка. Такое ведь могло быть, правда?

Михалыч долго ничего не отвечал, и только когда Истомин вновь взглянул на него, он понял, что никакого Михалыча здесь не было и в помине. В отчаянии он стоял дергать ручку хозбытовки, но она оказалась заперта. Истомин по-настоящему был здесь один.

Он повернулся и пошел к лазу в профнастиле.

Внутри забегаловки никого не было, но в воздухе висел стойкий запах пота и жареного мяса. Окно со стороны прилавка было открыто, но это не спасало. Сколько он помнил, весной здесь всегда было так душно и жарко.

Из подсобки на звук колокольчика вышла Лариса. Красная помада уже немного расплылась, лицо было красное и слишком влажное.

— О, привет! — заулыбалась Лариса, от чего ее губы стали казаться чуть менее бесформенными. Она собиралась добавить еще что-то, даже открыла рот, но только выдохнула и промолчала.

Истомин подошел к стойке с зажатой в руке купюрой.

— Что будешь? — спросила Лариса.

— Пиво.

— И все?

— Ну, давай шаурму еще.

— Какую?

— Да обычную.

— Классическую?

— Да, самую простую. С майонезом и кетчупом.

Лариса налила ему пиво и, натянув перчатки, принялась ловко сооружать шаурму.

Истомин ждал у стойки.

— Хорошо, что ты зашел.

— Да? Почему это?

Она пожала плечами и ответила, не поднимая головы:

— Ну, знаешь... — долгая пауза. — Из ваших никто так и не пришел. Я только из новостей и узнала.

Истомин промолчал и уставился в окно. Что он мог ей ответить? Что последнее, о чем подумаешь, когда рушится дело всей твоей жизни, это болтовня с продавщицей из соседней забегаловки?

Лариса наконец вручила ему сверток с едой, и он отошел за столик. Она пожалала плечами и открыла потрепанный роман в черно-розовой мягкой обложке.

Но долго читать ей не пришлось. Снова зазвонил колокольчик, и на пороге появились две девицы, явно из соседнего офисного здания, а почти сразу за ними — молодой парень в ветровке. Забегаловка стала набиваться народом: теми, кто спешил перекусить в обед чем-нибудь вредным или на ходу выпить отвратительный кофе из пластикового стаканчика. Только Истомин да тот парень в ветровке — явно Ларисин знакомый, может быть, даже хахаль — пили в это время пиво. Истомин взял себе еще одно.

— Да ладно тебе, пойдем, — уговаривал парень Ларису.

Она усмехалась в ответ.

— Скажи на милость, как ты себе это представляешь? На кого я это-то оставляю?

— Ты просто не знаешь, какие там комплексы! На сто пятьдесят рублей можно наесться от пуза, и все такое вкусное! Ну пойдем же пообедаем.

— Здесь тоже еда есть. Чем тебе не нравится? Моя шаурма не нравится? Если хочешь есть, давай я тебе сделаю. Сделать, а?

Две девицы за соседним столиком трещали о том, где лучше поменять набойки на туфли.

— Скоро уже совсем тепло. Можно уже будет снять эти дурацкие сапоги.

— А у меня и нет ничего на весну. Только старые прошлогодние туфли. Они нормальные в принципе, но хочется чего-то, знаешь, особенного.

— Угу, каждый сезон туфли покупать, так никаких денег не напасешься. Нет, я не настолько богатая.

— У нас же зарплаты одинаковые.

— Зато расходы разные.

— Да просто себя любить надо!

— Ага, а еще кушать и ипотеку платить.

— Слушай, этот мужик все время на нас пялится, пойдем-ка скорее отсюда. Доeday уже.

И девицы ушли, оставив после себя на столике крошки, пластиковую посуду и едва уловимый запах духов, слишком сильный для этого теплого весеннего денька.

«Этот мужик» уставился в окно и смотрел, как они уходят. По дорожке мимо стройки, к офисному зданию. На стройку они даже и не взглянули. Зато Истомин смотрел на нее и видел, как сверху надо всем этим нависают тяжелые свинцовые тучи.

Несмотря ни на что, жизнь все равно продолжала идти своим чередом.